

ИСТОРИЯ

А.Л. ЯНОВ

**" НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РУССКОЙ КОНСЕРВАТИВНОЙ
МЫСЛИ XV-XVIII СТОЛЕТИЙ "**

**Из диссертации на соискание ученой
степени доктора философских наук**

/Печатается с сокращениями/

Продолжение. Начало в журнале

"Часи" № 25

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ОПРАВДАНИЕ АВТОРА

§ 3 ОБЪЯСНЕНИЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

Я вижу, введная глава моя затягивается до такой степени, что может уже и откровенно наскучить читателю, каждому перейти, как говорится, к делу — от теории к практике, от деклараций к позитивному исследованию. Я вижу это и все-таки я вынужден воззвать к его терпению, к его сочувствию и доверию. И внимательный читатель мой уже понял, должно быть, что взяв я на себя такую задачу воссоздания целого жанра — с его специальным методологическим "языком", с его сложнейшим понятийным аппаратом. Ведь он сам, выросший в иной научной школе, воспитанный на иных образцах, на другой логике и другой поэзии, просто не поймет меня и не услышит, если я не объясню ему своего языка и своей логики. И формировать этот язык приходится в условиях дефиниционного хаоса, когда определять и доказывать нужно все, каждое слово, каждое понятие. Когда самим уже формированием нового жанра опасаю я на себя столь могущественные силы, поневоле дразню такое бесчисленное множество консервативных гусей, которые не простят мне малейшей оплошности, самой пустячной оговорки, что я должен, как бы ни было это тяжело и скучно мне самому, многократно и с разных сторон доказывать абсолютно все.

Я, конечно, понимаю, что все равно не избежать мне громов земных и небесных, если когда-нибудь увидит свет эта книга. Но совесть моя должна быть чиста, долг, как высокопарно изъяснялся пушкинский летописец, завещанный от бога, — исполнен. На том я стою и не могу иначе.

Пусть эта декларация знаменитого виттенбергского монаха послужит оправданием в глазах читателя моей тяжелой и скучной обстоятельности.

§ 9. "ФА" И "ЛИ"

Перебирая известный мне спектр политических концепций, я с трудом нахожу некоторую аналогию феномену, который я назвал "консервативно-абсолютистской оппозицией" только в раннем конфуцианстве и в доктрине просвещенного абсолютизма, особенно у французских физиократов.

Любопытно, что примерно в одну и ту же эпоху, около 500 г. до н.э. в разных концах Окумении складываются два противоположных политических миропонимания, выступавших как апологики различных типов управления общественными системами.

Политическая культура древнегреческих полисов, основные элементы которой складываются во время греко-персидских войн, вырабатывает классическое представление о Законе как о политическом ограничении власти, как о своего рода хартии, обеспечивающей права граждан и призванной защищать их от произвола, как о средстве эффективного социального контроля. Вспомните хотя бы, что Аристотель считает участие в законодательстве одним из основных признаков человека. Что человек, не принимающий участия в управлении, трактовался греческой живой мыслью как раб или варвар.

В то же время политическая культура современных греческих древнекитайских полисов вырабатывает представление о Фа - о Законе как об орудии власти, предназначенном для жесткого регулирования во всех жизненных отправлениях общества. Фа в древнекитайском политическом сознании есть нечто противоположное Закону в сознании греческом, а стало быть, и вообще европейском, есть символ легализации правительственного произвола, символ контроля власти над обществом.

И только поняв это фундаментальное различие, можно понять и отвращение, которое испытывал и Фа Конфуций, противопоставивший ему Ли - традиционную систему нравственных и культурных ценностей как орудие социального контроля граждан над властью.

Тут, может быть, впервые в мировой истории сталкиваемся мы с поразительным фактом, когда политическая оппозиция в ее канонизированной европейским сознанием форме законодательного ограничения власти — оказывалась исключенной. Ибо законы не ограничивали, но лишь утверждали произвол.

И впервые же общественное сознание реагирует на эту парадоксальную ситуацию выработкой принципиально иного орудия оппозиции, созданием того, что я называю консервативно-абсолютистской утопией.

У Конфуция утопия эта основывается на представлении о некоем идеальном правителе, который воспитывал бы народ примером собственных добродетелей и нравственной доблести, неустанительно следуя правилам традиционной благопристойности, именуемых Ли.

У адептов просвещенного абсолютизма эта конфуцианская утопия возродилась в неожиданном облике "естественного права", выполняющего, однако, именно функцию Ли.

Один из замечательнейших феноменов французской мысли XVIII в., т.е. эпохи преобладания а в т о к р а т и ч е с к и х тенденций в политической практике Франции, состоит в этой кратковременной гальванизации ранне-конфуцианских идей. Например, Мерсье де ла Ривьер воскрешает претивоположение Фа и Ли в контрверзе "легального" и "произвольного деспотизма". А аббат Бодо, уподобляя, совсем уже как Конфуций, власть государя власти отца семейства, громогласно порицает увлечение античными образцами, нитается обосновать совсем иную родословную европейской культуры, восхищаясь "четырьмя нациями, истинно славными: калдеями, египтянами, перуанцами и китайцами". Более того, образцовой монархией считает он именно империю богдыхана, поскольку, по его мнению, древнегреческие демократические "летописи представляют лишь ужасное зрелище ужасных посягательств против мира и счастья человечества."

Главным условием государственного процветания все они считали подчинение "естественному праву", т.е. неким

органическим фундаментом законам социального функционирования. Иначе говоря, речь шла все о том же подчинении власти правилам Ли, о которых толковал за две с лишним тысячи лет до них Конфуций. О том же самом либеральном "невмешательстве власти в дела земли", о котором толковал столетие спустя после них московский славянофил Аксаков...

Недаром отмечал акад. А.В.Тарле, что "Дюпон де Немур, как все другие фискалы, ему современные... склонен больше останавливаться на том, что не должно делать государство, а не на том, что оно должно делать". Государство должно не мешать обществу жить пристойно и благочестиво, согласно нормам культурной традиции или "естественного права". Власть должна охранять традиционный процесс функционирования системы, а не вмешиваться в него, создавая ему помехи и произвольно его наказывая. Монархии приходят и уходят, а общество остается. Общество, символизируемое традицией, священно. Оно источник благодати. Оно основа и фундамент власти. Иначе говоря, управление для системы, а не система для управления!

Из этого фундаментального постулата, решительно противопоставленного "фа", "произвольному деспотизму", "официальной народности", исходили ранние конфуцианцы, исходили фискалы, исходили славянофилы.

Отсюда особая, можно сказать, мессеанская ценность социального слоя, который по преимуществу воплощает и оберегает культурную традицию, ее живого носителя. Вот почему главное, основополагающее различие между Россией и Европой усматривали славянофилы в том, что традиционалистским слоем, слоем-хранителем предания была в Европе аристократия, а в России - простой народ, крестьянство.

"Мы обращаемся, - писал по этому поводу В.Самарин, - к простому народу, но не той же самой причиной, по которой они сочувствуют аристократии, т.е. потому, что у нас народ хранит в себе дар самопожертвования, свободу нравственного вдохновения и уважения к преданию. В России - единственный принят торжества, т.е. консерватизма - черная

наба крестьянина". Удивительно ли, что это самое почитание к сельскому труду и сельскому населению, как основе нации, составляло ядро и концепция феодалов?

Но раннее конфуцианство практически перестало существовать уже во II веке до н.э. И трудно истолковать это иначе, нежели авторитетное свидетельство полной и окончательной победы "азиатского деспотизма" над инфантильной оппозиционной контркультурой древнекитайского периода. Другими словами, раз уж получаем мы в свое распоряжение универсальный инструмент философско-исторического исследования, как "оппозиционная абсолютистская контркультура", то не может ли он быть практически утилизирован для верификации истории политических культур?

Ведь на противоположном полюсе такой абсолютистской контркультуры должна обязательно располагаться именно культура авторитарная. Так нельзя ли предположить, что период с V по II в. до н.э. был в древнекитайской истории эпохой соперничества двух восточно конкурировавших между собой культур, авторитарной и абсолютистской, соперничества, закончившегося полным растворением контркультуры раннего конфуцианства в победившей авторитарии, адаптацией конфуцианства к нуждам бюрократического режима, выродившегося в результате исчезновения идейной оппозиции в однородно-безжизненную культуру "азиатского деспотизма"?

Тот свод дидактических стереотипов, который известен нам сегодня под именем конфуцианства, есть, увы, лишь последствие этого вырождения, этого глобального поражения и исчезновения в Китае абсолютистской контркультуры. Вспомним, что еще в IV веке до н.э. один из первых идеологов китайского "легизма", приспособившего конфуцианство к нуждам азиатского деспотизма, Шан Янь учил:

"Когда народ слаб — государство сильно, когда государство сильно — народ слаб. Поэтому государство, идущее истинным путем, стремится ослабить народ".

Вся мудрость деспотической авторитарии вылилась в этот гениальный афоризм, в этой странной двуколонной

системе, которую могла бы написать на своих знаменах оппозиция.

И французская история XVIII-XIX вв.в. приносит нам, хоть и косвенное, но любопытное подтверждение именно такой схемы функционирования абсолютистской контркультуры. Ведь и здесь возникла она, как антипод автократического режима, как зеркальное - с обратным знаком - его отражение. Другое дело, что здесь автократическая политика не привилась к мощному европейскому древу и дала результат противоположный. После того, как в знаменательное двухлетие 1774-1776 гг. премьерство Тюрго окончилось крахом и четко обнажило утопическую сущность "легального деспотизма", Франция ответила на автократию революцией, которая вместе с ней похоронила и абсолютистскую оппозицию.

Иначе говоря, на Дальнем Востоке столкновение двух культур привело к бесплодному торжеству "азиатского деспотизма", на дальнем Западе - к революции, а на гигантском евразийском материке России привело к симбиозу двух культур, каждая из которых обуславливала другую, как обуславливают друг друга два полюса одного магнита.

И если поэтому в политической истории Франции и Китая консервативно-абсолютистская контркультура была лишь мимолетным, в известном смысле случайным эпизодом, то в России была она фундаментальной основой мощной политической традиции, просуществовавшей многие столетия, была важнейшим элементом всей ее политической культуры - от могущественных "царистских илихий" русского крестьянства в самом низу общественного здания до разнообразных идеологических доктрин, венцом и финалом которых было славянофильство 40-60-х годов XIX века.

§ 10. ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

ИСТОРИИ

В ряде предшествующих параграфов мне пришлось познакомиться главным образом с "абсолютистами". Теперь предстоит мне полемика с "деспотистами". Что именно ут-

верждают они, отождествляя русскую автократию с "азиатским деспотизмом", читатель в общих чертах уже знает. Но как аргументируют они свою позицию, мы сейчас увидим.

В конце 60-х годов мне пришлось оппонировать в "Вопросах философии" итальянскому культурологу проф. Е. Гаспарини, посвятившему несколько работ так называемому "пророчеству Константина Леонтьева". Гаспарини утверждает, что "жестокость и непримиримость в защите антилиберализма, иерархии и неравенства... сделали Леонтьева пророком.. ненависть сделала его ясновидящим." "Отвага его мысли беспримерна даже для России, где люди вообще не робки".

Леонтьев вызывает у Гаспарини сложное чувство - устал борется в нем с восхищением.

"Не существует, - восклицает он, - предсказаний, кем бы они не делались, от Нестрадамуса до Мадзини, от Маркса до Ницше, Герцена и Бакунина, которые описали бы будущее с конкретностью и точностью, хотя бы приближающимися к леонтьевским."

Попутно выясняется, что восторг Гаспарини вовсе не так безобиден, как могло сначала показаться, ибо относится он не столько к абстрактной "отваге мысли", сколько к вполне конкретной гипотезе, в которой утверждается, что Леонтьев "предвидел само направление международной советской политики".

"Было в его мысли что-то ошеломляющее и в рамках его интуиции были аспекты, которые достигли наших дней, которые и сегодня несут угрожающий характер с точки зрения ближайшего будущего".

Таким образом, похвали уникальному пророческому дару забытого у нас мыслителя обращивается неожиданно грозным предостережением сегодняшней Европе. И не только сегодняшней, но в еще большей степени завтрашней. Ибо именно этот смысл имеет предсказание Гаспарини о том, что "Леонтьев без колебаний распахивает окно в XXI век."

Вот почему восславление "отваги мысли" и "ошеломляющей интуиции" Леонтьева должно ныне зачехляться подобно Мемне, Тэкал, Сарес, на стенах западных городов. Европа,

которая, по мнению Гаспарини, "утратила чувство истории", должна вновь обрести его или погибнуть — вот его категорическое заключение, его поворот мысли, его апокалиптический призыв, его, если угодно, собственное пророчество! Ибо роковой деспотический стереотип (определенный Леонтьевым как "византизм"), который был присущ "русскому народному духу" на протяжении, скажем, трехсотлетнего господства Романовых, обращившаяся под пером Гаспарини не историческим несчастьем России, а коренным, фундаментальным свойством упомянутого духа. "Византизм" есть его органическое строение, его генетический код, нечто, не созданное человеком и не разрушимое им, равно вращающееся над народом во дни его величия и падения, независимое от всех исторических катаклизмов и восстающее из пепла во всей своей незамутненной целостности.

Ибо политическая культура народа, утверждает Гаспарини, дана от века и до конца пребудет сама в себе неизменной и нерушимой. История не властна над ней, она — рок, неизбежность, судьба. Как говорит, подтверждая эту точку зрения, Гаспарини, —

"Леонтьев мыслил не в терминах каузальности, а в терминах судьбы". "Никому не приходило в голову установить духовную связь между советской Россией и Византией. Однако эта связь существует. И раньше или позже она станет очевидной."

Такова концепция Гаспарини. Сила ее — в первоисточнике, в том, что опирается она на сочинения мощного русского мыслителя, блестящего и парадоксального интеллектуала. И оспорить ее всерьез можно, конечно, лишь точным и строгим анализом этого первоисточника, анализом, призванным доказать, что Гаспарини основывается на том, чего сам толком не знает.

Да, я пока утверждаю, а позже надеюсь и доказать, что Гаспарини просто не владеет материалом.

Но сейчас не в том все дело. Не в том, ибо, во-первых, для компетентного спора с Гаспарини нужно знать Леонтьева, которого у нас не знают.

Не в том, ибо, во-вторых, чтобы понять и оценить его действительную роль в истории русского консерватизма, нужно знать саму эту историю, которую мы опять-таки не знаем.

Не в том, ибо, в-третьих, Е. Гаспарини вовсе не монстр какой-нибудь, не новоявленный Нострадамус, не исключение в современной зарубежной литературе, трактующей русскую историю. Генетическое ее объяснение есть фундаментальный факт всей современной западной историографии.

Справедливость требует напомнить, однако, что истоки этого генетического объяснения лежат в самой русской эмигрантской мысли 20-х годов, в разнообразных идейных течениях, начиная от "евразийства" и кончая "сменовеховством", развивавших в той или иной форме феномен, названный Гаспарини "пророчеством Константина Леонтьева".

Причем, стояли тогда на этой основе не только противники, но и доброжелатели Советской России. И, как это ни парадоксально, чем некрепнее желали они ей добра, тем тверже они на этой основе стояли. Ибо ничто иное не могло примирить их с собственной судьбой.

Мне придется для доказательства этой мысли привести здесь обширные выписки из доклада бывшего члена Временного правительства В. Львова "Советская власть в борьбе за русскую государственность", читанного им в Париже 12 ноября 1921 года и в следующем году изданного автором в Берлине.

В. Львов защищает советскую власть с такой же яростью, с какой Гаспарини ее ненавидит. И светлый пафос его аполлонов несколько не уступает мрачному обличительному пафосу Гаспарини.

"В иступлении ненависти, — восклицает князь Львов, — реакционеры кричат о борьбе с советской властью. С кем желают они бороться? С русским народом, который защищает советскую власть как свое собственное произведение? Против себя лучше боритесь, господа реакционеры, против своего упорного желания привести русский народ назад под иго политических и социальных несправедливостей. Совет-

ская власть вует новую Россию..."

За что же вдруг так полюбил советскую власть бывший член Временного правительства, славянофил, князь Львов? За то, что, по его мнению, "непреодолимый закон исторической необходимости /т.е. "византизм" у Леонтьева и "деспотический стереотип русского народного духа" у Гапарина/ толкает советскую власть к тому, чтобы на орудия коммунистической программы превращаться в орудие осуществления исторических задач России и русского народа."

За то, что "как это ни странно, как два полярных электричества внезапно сходятся два течения и вспыхивает свет, старое славянофильство и новая советская власть притягивают друг другу руки". "В повизне твоих преобразований старина наша слышится." Идеализируя общину, славянофилы сами не жили в общине. Если бы они были последовательными, то они пришли бы к советской власти, которая есть общинное управление государством."

"При установлении избирательного права, — учит Львов, — надо руководиться желаниями и смыслом русского народа, степенью его сознательности, а не исключительно иностранными образцами. Как ни как, а русский народ понимает советские выборы, а партийных выборов не понимает... Такова психология русского народа. Считаться ли с ней или называть ее азиатчиной?.. Как представляли себе славянофилы государственный строй России? В виде самоуправления, в котором преодолена всякая политическая и партийная борьба, а все соединены общей деловой работой во имя единого общего идеала. Разве это не есть цель, которую ставит перед собой советская власть?.. Так, сбросивши брону европейских узорчатых покровов, Россия встает перед миром в новой одежде своего национального бытия и общечеловеческого служения. Петербургский период, столь ненавидимый славянофилами, кончился, и из глубины веков идет русская самобытность на творческую работу ради себя и всего человечества".

... В свое время В.В.Розанов сказал о Ницше и Леонтьеве, что они — одна комета, разъятая надвое. Уви, то же

самое остается нам повторить сейчас о Львове и Гаспарини, ибо концепции их, как видим, отличаются не по существу дела, но лишь по знаку: там, где один ставит плюс, другой — минус.

Нет необходимости, наверное, напоминать читателю, что природа этой концепции консервативна, что именно ее на протяжении многих столетий защищали русские консерваторы, опиравшиеся, как мы уже говорили, на "старину", на обычай и предание, в которых они видели свое главное идеологическое оружие. Но вот в чем разница. Русские консерваторы при помощи этого оружия боролись против автократии, полагая содержанием предания "независимость земли от государства", "свободу народного духа" от деспотического стереотипа, тогда как современные их зарубежные истолкователи утилизируют старое оружие русской оппозиционной контркультуры в целях противоположных.

Вот почему так злобеще и кощунственно звучит в докладе американского историка проф. Р.Пайпса на XII международном Конгрессе исторических наук (1970 г.) о т о ж д е с т в л е н и е русского консерватизма с русским деспотизмом. "Дух консерватизма, — провозглашает Пайпс, — доминирует в политическом мышлении и правителе России." Причем, "дух" этот Пайпс определяет как "идеологию, пропагандирующую авторитарное правительство в России, с властью, не ограниченной формальным правом или выборным законодательным учреждением, которое признает только те ограничения, какие считает удобным наложить на себя само".

Решительно нет надобности искать в концепции Пайпса сверхсмысла и подтекста, ибо логические выводы из ее постулатов радикальны и однозначны: деспотизм есть основа русской политической культуры, ее полутысячелетний ключ, благополучно переживший гигантские исторические катаклизмы, начиная от конфронтации с татарами на Угре и кончая конфронтацией с китайцами на Амуре, и потому дающий возможность однозначно прогнозировать политику и идеологию любого русского правительства, какую бы форму не приняла здесь общественная система и чего ни желали бы те или

иние ее лидеры.

Существование политической борьбы, а тем более оппозиционной контркультуры, конкуренция альтернативных программ и идеологических моделей тем самым отрицается, европейский дух отлетает от русской политической культуры, русская история на глазах превращается в китайскую, становится разновидностью "азиатского деспотизма".

Короче, смысл концепции Пайпса заключен в страшной формуле Данте, начертанной над воротами Ада: оставь надежду всяк сюда входящий.

Здесь ни место оспаривать ни выводы, ни методологические посылки концепции Пайпса. С ними нам придется еще спорить в самых разных главах книги, поскольку притязает эта концепция на глобальность, на очерк всей истории русского консерватизма.

И опять, как в случае с Гаспарини, встречаемся мы, должно быть, не со злым умыслом, но с незнанием, в котором, право, нам следовало бы винить прежде всего самих себя, ибо речь идет об истории нашей, отечественной мысли. Тем более, что незнание это, судя по всему, обретает опасные, угрожающие, поистине гомерические масштабы, что происходит не только при построении отвлеченных идеологических моделей, но и актуальных практически-политических программ. Посмотрите же, какой всеобщий характер приняла эта, если можно так выразиться, эпидемия незнания.

Разве не к тем же выводам, что и Пайпс, пришел в 1952 г. швейцарский историк В.Медлин, утверждая, что "путь, ведущий от Константинополя к Киеву и Москве, отличается скорее большой протяженностью времени и пространства, чем действительной эволюцией политической идеологии"? Разве не то же самое, что Гаспарини, говорил Н.Вердяев, заявляя, что "В Интернационал имеет много черт В Рима"? —

И разве не освятил все это своим авторитетом патриарх английских историков, крупнейший из живущих сейчас историософов А.Тойнби, категорически декларируя, что "Московское политическое здание дважды — при Петре и при Ленине — меняло свой фасад, но суть его не изменилась, ни-

новый Советский Союз так же, как и Московское великое княжество XIV века воспроизводит характерные черты Восточно-Римской империи?"

§ 11 АБСОЛЮТИСТСКАЯ КОНТКУЛЬТУРА

Пусть рассудит теперь читатель, где он, тот решающий аргумент, который способен опровергнуть "деспотическую" концепцию русской истории. Разве двумя параграфами выше я и сам не лил воду на их мельницу, борясь с "абсолютистами"? Разве не сокрушался я над деспотическими стереотипами русской политической культуры? Разве не описывал с горечью, как наложило самодержавие свою тяжкую хамскую лапу на хозяйство страны, на мысль ее, оказывая и опертывая все, к чему прикасалось, неукротимо сев вокруг себя пустыню? Как полирало оно, в отличие от европейского абсолютизма, все уровни ограничений, как, навязывая своему народу гибельный курс и не допуская никаких средств его корректировки, никакого социального контроля, заставляло страну перманентно балансировать над бездной?

Так нет ли жестокого логического противоречия в моей собственной позиции? Действительно ли так уж важны те отличия автократии от "азиатского деспотизма", на которых я настаиваю?

Первостепенно важны. Разумеется!

Ибо они, собственно, и делают русскую историю тем, чем она на самом деле была, и без них ее просто нет.

Да, автократические элементы присутствовали в русской политической культуре и даже преобладали в ней. Но мыслимо ли, корректно ли, добросовестно ли забыть, что утверждались они и функционировали в жесточайшей борьбе с противостоящими им силами? Что каждый их шаг вперед завоевывался железом и кровью? Что они не только наступали, но и отступали, что им приходилось не только завоевывать, но и отвоевывать свои позиции? Что столь же неукротимо встречала их всякий раз лицом к лицу как будто бы однажды, и дважды, и трижды уже поверженная, полити-

чески разгромленная, а порою даже физически истребленная и все-таки неистребимая оппозиция, словно бы возрождавшаяся из собственного праха?

Против кого проводил свою автократическую революцию Грозный, кого сокрушал он в трагической акции января 1565 года, когда за две недели постарел, по единодушному свидетельству очевидцев, на двадцать лет? Кого он так истерически боялся, что не смел жить в Москве, а поселился в опричной столице? Боялся он абсолютизма и сокрушал он абсолютизм, который не только наличествовал в России XVI века, но и господствовал в ней!

Ему бы, Грозному, в руки те "характерные черты Восточно-Римской империи", тот "византийский" код и прочие "генетические" трюизмы, которыми пугают сегодня Европу "деспотизмы", так он бы не опричный путь устроил в России, а богдыханский санаторий...

Почему дезавуировал террор Шуйский и почему составлял либеральную конституцию в Смутное время Салтыков? За что умер под казачьими саблями Ляпунов? Откуда появился в XVII веке великий оппозиционный мыслитель Крижанич? Откуда появился в очередное, послепетровское время конституционалист Дмитрий Галицын со своими "кондициями", представленными императрице Анне? Где место их в структуре "азиатского деспотизма"?

Да в том-то и дело, что не было ее никогда на Руси. Что политическая культура автократии, в отличие от этого деспотизма, двойственна, противоречива, неоднородна. Что двойственность эта, постоянная смена Звездного часа автократии — псевдоабсолютизмом, "лестной" опричины — "мигкой", служила даже, как мы уже выяснили, специфически-русским механизмом социальной регуляции, обеспечивая автократической системе многовековую устойчивость.

Но не в ней, не в одной только противоречивости этой дело. Дело в абсолютистской оппозиционной контркультуре. Дело в неистребимости этой контркультуры. Дело в том, что с ней оказалось невозможно покончить — ни подкупом, ни казнями египетскими, ни гигантской

системой оккупационного народа и социальной демагогией, ни институционализацией культуры, как похоронено было в нем в Китае, ни политическими процессами, ни инкутом, ни плахой. Дело в том, что автократическая культура при всем своем всемогуществе перед ней бессильна: очаг оппозиции, как живая разверстая рана, зиял в ее теле, иногда тлел, иногда покрывался серым наплывом, но всегда шел к с неожиданной силой прорывался в очередное Смутное время. Дело в том, что самой двойственностью и противоречивостью своей структуры автократия беспрерывно его воспроизводила, и он в свою очередь беспрерывно воспроизводил ее противоречия. Дело в том, что оппозиционная контркультура была действующим и функциональным органом самого механизма автократии!

Так же, как автократия была идеальной моделью, мечтой и утопией европейского абсолютизма, так и "азиатский деспотизм" с его отсутствием политической оппозиции всегда был грезой автократии. Но грезой недостижимой, невозможной. Что ж, не только обездоленные массы и не только обездоленная мысль грезили наяву и творили в качестве социальной компенсации призрачные утопии. И у всемогущих тиранов, значит, были свои хрустальные мечты, которым никогда не суждено было сбыться...

Но если оппозиционная контркультура и есть решающий аргумент против "деспотистов", то не должны ли бы хоть на этом ограниченном участке борьбы поддержать меня наши "абсолютисты"? Ведь здесь интересы наши, казалось бы, совпадали, необходимость "дать отпор", как очень любят они выражаться, китаизаторам русской культуры была общей.

У читателя сейчас будет практический, можно сказать, лабораторный возможность проверить, как понимают они свои собственные интересы, как топят они в бушующем агрессивном океане дефиниционного хаоса даже то, в чем теоретически заинтересованы сами, как ссылаются на дела эти "абсолютисты" со своими антиподами, как яростно про-

тивятся любой попытке стареть с интерпретации русской культуры желтой окраску. Чтобы не быть голословным, позволю здесь вкратце материал дискуссии, проведенной в 1969 г. в журнале "Вопросы литературы" по моей статье "Загадка славянофильской критики", дискуссии, которая, по выражению болгарского журнала "Литературная мысль" явилась "наиболее значительным событием в идеологической жизни СССР после 1956 года".

Моя позиция очевидна читателю заранее: я трактовал славянофильство 40-60-х годов прошлого века как финал и высшую точку русского консерватизма, как очередную инстанцию русской оппозиционной контркультуры. Увы, я немедленно получил "жестокый отпор"...

Например, тот же самый, цитированный уже выше С.Покровский, который, как мы помним, заявлял, что "неограниченная власть царя" существовала в России уже в XVI веке, умудрился о д н о в р е м е н н о провозгласить, что она начала существовать лишь столетие спустя "под напором восстаний и крестьянской войны", тот самый С.Покровский и здесь обличил меня в "отвлечении от классовой позиции славянофилов".

Сам же он, С.Покровский, энергично поддержанный в дискуссии А.Дементьевым, и В.Кулешовым, развивал столь же традиционную, сколь и примитивную методологическую схему, в которой постулировалось: а/ славянофилы были помещики, перепуганные революцией; б/ стало быть, их идеология была идеологией перепуганных помещиков; в/ стало быть, она нехорошая, реакционная; г/ а раз реакционная, значит, охранительная; д/ охранительная в свою очередь означает, что славянофилы охраняли, или, как выражается В.Кулешов, "спасали строй"; е/ а раз "спасали строй", то какой может быть разговор об их оппозиционности? И зачем вообще с ними спорить: какая может быть для нас в этом охранительстве проблема — вот чего так до конца и не выявили в теле мой оппоненты.

"Думается, что здесь никакой проблемы нет", — просто-

душно признавался С.Покровский. "Никакой загадки славянофильской критики не существует", — вторил ему А.Дементьев. Проблему придумал Янов. И "антиславянофильскую традицию" в нашей исторической науке придумал он же. Придумал не причине, с которой в академическом кругу и говорить неловко, — не удосужился "первооткрыватель" заглянуть в вузовский учебник истории СССР или хотя бы в Большую Советскую Энциклопедию...

Вот как, оказывается, могут говорить ученые — агенты "анализа классовой природы".

Пренебрежем, однако, недвусмысленной формой и обратимся к сути дела. Что именно скогли бы мы почерпнуть из их учебников и энциклопедических справок? То, что в 1959 году Н.Мещеряков безапелляционно писал: "В среде помещиков, которые хотели продолжать свое хозяйство на старых, патриархальных основаниях, на основе крепостного права и всех тех привилегий, которые давал им существующий строй, возникло течение славянофильства"? Или то, что в 1967 г. В.Малинин пишет: "славянофильство было по своим социальным истокам и общественным функциям консервативно-охранительным течением", "объективно способствовало реакции"

и заканчивает этот пассаж злобедим предупреждением, более уместным в устах прокурора, нежели ученого: "Противное доказать невозможно"?

Так ведь это совершенно то же самое, что говорили в дискуссии мои противники. Но где же аргументы? Где анализ? Где объяснение того, о чем идет спор, того, почему это "охранители", "спасители строя", злокозненные славянофилы, воскрешенные из небытия невежеством Янова, "спасали строй" так на удивление странно и нелепо?

Вместо того, чтобы из всех сил защищать крепостничество и цензуру, составлявшие душу любезного им деспотизма, "славянофилы выступали за свободу мнений, за свободу слова".

Вместо того, чтобы прятаться за частоклок правительственных штыков и правительственных цензоров, как недо-

бало бы перепуганным помещикам, "славянофилы решительно выступали против полицейских порядков, против мертвящего формализма бюрократии."

Вместо того, чтобы требовать репрессий и закручивания гаек, они "отстаивали неприкосновенность частной жизни и ее независимость от усмотрений начальства, свободу мысли и высказываний."

И вообще "выступление славянофилов будило мысль, вызвало споры, вело к дискредитации деспотизма."

Но нелогичность и странность такого поведения "спасителей строя" становится совсем уже загадочной, когда мы узнаем, что все процитированные в вышней степени лестные их характеристики взяты из той же самой статьи, откуда и мрачные против них инвективы. Из статьи С.Покровского, предназначенной служить обвинительным заключением по делу славянофилов!

Посмотрите же, какой логический канкан подготовили здесь себе сами мои оппоненты. Ведь выходит, что славянофилы спасали деспотизм и одновременно дискредитировали его! Выступали за цензуру и в то же время за свободу слова! Душили мысль — и отстаивали свободу! Как же это возможно? Как совместить совершенно отчетливую оппозиционность славянофилов с их столь же несомненной консервативностью? Просто зачеркнуть оппозиционность, как предопределяет концепция "деспотистов", столь парадоксально поддержанная в нашем случае их антиподами? Или, напротив, зачеркнуть их консерватизм, как делают современные апологеты славянофильства?

Но ведь зачеркивая любую из сторон реального явления, мы не только жертвуем элементарной научной добросовестностью, но и попросту лишаем себя возможности уловить это явление во всей его конкретной целостности, во всей его живой противоречивости, вызывающей вовсе не к обвинительным заключениям и не к адвокатской риторике, но к глубокому и честному его анализу.

Но как возможен такой анализ, если мы не располагаем

даже самым первоначальным необходимыми для него инструментарием, понятийным аппаратом? Ну спросите хоть у проф. В. Кулешова, какой, по его мнению, славянофиль "спасал-строй", и он ответит вам, как проф. Б. Егоров: "самодержавно-крепостнический". Но ведь самодержавно-крепостнический строй был в России и при Василии Шуйском, и при Алексее Михайловиче, и при Петре, и при Николае...

Между тем, вся конструкция славянофилов основана на противопоставлении "строю" допетровского "строю" послепетровскому. И ясно же, что, оперируя одним абстрактным термином "самодержавно-крепостнический строй", мы оказываемся просто не в состоянии понять ни того, что проповедали славянофилы, ни того, что они отвергали. Иначе говоря, самая суть их учения остается за скобками такой методологии. И, пользуясь ею, мы заранее отказываемся от возможности выяснить и действительный характер николаевского режима, и действительную функцию оппозиционной ему консервативной утопии славянофилов.

В задачу этого параграфа не входит ни то, ни другое. Здесь хочу я лишь продемонстрировать откровенную методологическую несостоятельность "ортодоксального" понятийного аппарата. Ограничусь поэтому лишь самой краткой характеристикой этой функции.

...Наступил очередной Звездный час Автократии. Своеобразие его заключалось в том, что его идеология, триединая "официальная народность" была, по сути, родом могущественной светской религии, навязанной оцепеневшему после разгрома декабризма обществу. Смысл этой религии сводился к обожествлению государства. То был поистине языческий культ политического идолопоклонства. По сути, гигантская попытка навязать России фельдфебеля в Волтеры. Пушкинское "Клеветникам России" и "Выбранные места" Гоголя достаточно ясно говорят о беспрецедентной опасности такой попытки, грозившей в конечном счете действительным вырождением русской культуры в "азиатский деспотизм". Вспомните, какие имена — Пушкин, Гоголь, Тютчев, Вяземский

Дукровский, Надеждин, Майков, на время даже Бакунин и Белинский! — смог запербовать на свою сторону режим в этот короткий и страшный промежуток 1825—1840 годов, в морозные годы России.

Власть — мысль народа, его духовный пастирь, его совесть — гласила первая заповедь этой религии. Власть все ведает, все видит, всех любит, все может. Гражданской обязанностью россиянина является вера в ее непогрешимость. Всякий, кто рассуждает, вместо того, чтобы верить, — не только государственник преступник, но и еретик! Да, "деспотизм еще существует в России, — с трогательной прямотой мог теперь заявить сам хозяин земли русской, ^{х)} — ибо он составляет сущность моего правления, но он согласен с гением нации".

Вот откуда идет оно, это кредо охранительной мысли, этот деспотический стереотип, приписываемый теперь Пайпсом и Гаспарини русским консерваторам! Вот кто насаждал и цитовал его на русской почве. Но славянофильство, самая яркая и мощная историческая фракция русского консерватизма, как раз обрушилась на него со всем пылом и яростью!

Не они ли первые заявили бесстрашно, что "образовалось не государство над землею, и русская земля стала как бы завоеванной, а государство завоевательным. Русский монарх получил значение деспота, а свободные-подданные народ значение раба-невольника"? ^{хх)}

Сама революция трактовалась ими как продукт этого деспотизма. "Чем долее будет продолжаться система, делающая из подданного раба, тем более будут входить в Россию чуждые начала... тем грозней будут революционные попытки, которые сокрушат, наконец, Россию, когда она перестанет

х) Николай I.

хх) К. Аксаков.

быть Российской". Значит зло-то, собственно, не в революции, ибо грозит она лишь выродившейся России, уже переставшей быть Россией, зло в деспотизме как в виновнике этого вырождения. И не революции, стало быть, испугались славянофилы, как уверяет нас С.Покровский, деспотизма она испугалась!

Но сейчас нам важно, что даже борясь с революцией, славянофильство должно было бороться с политическим идеологием, с чудовищной религией государства.

Оно было борцом за секуляризацию власти — вот в чем состояла его позитивная социальная функция в эти страшные идейные сумерки России.

Ибо, как сказал Маркс, "критика религии — предисловие к всякой другой критике".

Все свои глубочайшие тайны раскрывает нам в славянофильстве, сокровенные свои недра развергает перед нами в нем русская абсолютистская контркультура!

Да, славянофилы отстаивали самодержавие. Да, они были монархической оппозицией монархии. Да, они в точности так же, как и "физикраты", отвергали "произвольный деспотизм" ради "деспотизма легального", но в том-то ведь и заключался истинный смысл всякой а б с о л ю т и с т с к о й оппозиции.

Да, они выступали против конституции, против любых юридических ограничений власти, но всеми силами отстаивали "невысочайшесть государства в дела земли", "независимость духа, совести, мысли", "стремление к духовной свободе", т.е. как и положено было от века абсолютистам, защищали от автократии д р у г и е у р о в н и ограничений, экономические, идеологические, культурные.

Да, они противопоставляли "игу государства над землей", языческому игу автократии не революционное его опровержение, а все ту же традиционную систему нравственных и культурных ценностей русского народа, его "старину", его предание, его, говоря конфуцианским языком, Ли, опирающееся на евангельские постулаты православия. Но в том-то ведь и заключается смысл всякой к о н с е р -

в а т и в и о й оппозиции.

Просто Закон был для них историческим орудием авторитаризма, был для них ненавистным Фактом, и не законность они поэтому противопоставляли ей, а отрицание политики.

"Если народ не посягает на государство, то и государство не должно посягать на народ", — таков был первый, генеральный постулат русского консервативного абсолютизма в XIX веке.

Власть хочет быть самодержавной? Пусть будет. Но зачем? Затем, что "только при неограниченной власти монархический народ может отделить от себя государство, предоставив себе жизнь нравственно-общественную, стремление к духовной свободе." Но зато эта духовная свобода общества тоже должна быть неограниченной!

Полновластный и суверенный народ, единственный источник власти на этой грешной земле, не делая карать руки о безнравственность и греховность политики, добровольно, своими руками препоручает ее самодержавному государству. Как писал Хомяков о Тютчеве: "За одно попеняйте ему, за нападение на

В нем действительно . Иначе, что же 1612 год? Я имею право это говорить потому именно, что я антиреспубликанец, антиконституционалист и пр. Самое повиновение народа есть

Как видите, не ограничить суверенный народ самодержавием, а напротив, освободить его посредством самодержавия от греховной и суетной "западной" политики, дать ему возможность целиком посвятить себя свободной и спокойной хозяйственной, идейной, нравственной, культурной жизни — вот же в чем на самом деле состоял генеральный замысел славянофилов.

И если бы мне сейчас возразили, что это — фантазматика, что самодержавие с народом властью практически несовместимы, что свобода от политики равносильна рабству у деспотизма, я ответил бы, что речь идет от у т о п и и,

т.е. предприятия практически неосуществимой. Ибо даже реализовавшись в самодержавно-либеральной монархии Александра II, оно представляло собой все тот же традиционный русский п о с е в д о а б с о л ю т и з м, иначе говоря, не обеспечивало народу ни свободы, ни независимости духа, совести, мысли. Но ведь сейчас-то спор у нас идет вовсе не об этом. Сейчас идет он о том, какую роль сыграла эта утопия в актуальной идеологической борьбе с николаевской автократией, какую роль сыграла она в политическом сознании своей эпохи, в духовной секуляризации власти.

И только выяснив предварительно все эти параметры русской контркультуры, можем мы прийти к выводу, что ту же самую функцию защиты человеческих прав и свобод, которую исполнял в борьбе против абсолютизма в Европе конституционный либерализм, эту функцию в автократической системе исполняла консервативно-абсолютистская оппозиция. Иначе говоря, именно она исполняла в России роль оппозиции л и б е р а л ь н о й.

И конечно, первой, самой высокой из ее обязанностей была защита ненавистного автократии, загнанного, забытого, затравленного ею интеллекта.

"Догадала же меня нелегкая родиться в России с умом и талантом"— ужаснулся когда-то Пушкин II не ведая он, сколько русских интеллектуалов прокляло свою судьбу до него и проклянут после. Проклянут, но все таки будут жить и работать в этой ужасной, в этой великой стране. Жить и работать для того, чтобы покончить с ее нескончаемой автократией...

§ 12. АВТОКРАТИЯ И ИНТЕЛЛЕКТ

Но поставив вопрос так, мы легко убедились, что русская оппозиционная контркультура вовсе не сводилась к одной консервативно-абсолютистской оппозиции, что, понятая широко, тема эта касалась по существу всей судьбы русского интеллекта. Ибо действительное ядро этой контркультуры, ее питательную почву и ее движущую силу всегда составлял именно он. Ибо он, интеллект, изначально был

оппозиционер автократии. Ибо не только автократии не могла с ним ужиться, но и он не мог ужиться с нею.

У меня решительно нет возможности описывать здесь, забегаю вперед, это гигантское, неравное и трагическое противостояние двух определяющих сил русской культуры. Все это нам еще предстоит. Этому, по сути, посвящена моя книга. И все-таки намерен я предварить ее конкретные аналитические главы кратким очерком этого великого противостояния. Я попытаюсь хоть в общих чертах проанализировать сейчас социальные функции самого мощного и яркого орудия интеллекта — русской литературы XVIII-XIX веков.

Белинский, как, может быть, помнит читатель, начал свою критическую карьеру с торжественного отречения от литературы XVIII века. Не оспаривая столь экстремистского суждения, зачеркивавшего ее все — "от Ломоносова, первого гения до г-на Кукольника, последнего ее гения", — попробую объяснить его.

... Николай I утвердился в общеданном сознании как Палкин, тупой и злобный унтер. Подробный разговор о нем у нас еще впереди. А пока заметим лишь, что дело обстояло сложнее. Ибо Николай был одержим реформой. Реформаторский зуд буквально не давал ему спать. В этом смысле он один из крупнейших — и бесплоднейших — преобразователей на русском престоле. Все помыслы его вертелись вокруг необходимых, но не дававшихся ему преобразований. Словом, он — тот самый фарс, та самая сатира на Петра, в которую, согласно гегелевскому афоризму, превращаются, повторяясь, трагические лица и явления истории.

Но подлинный парадокс, крупнейшая, быть может, мистификация века в том, что программа преобразований — украдена Николаем у декабристов, которых он казнил, заточил в казематах и рудниках, изолировал от общества как проклятых.

Не пробыл еще час казни в Петропавловской крепости, а охрана крестьян от помещичьего насилия объявлена была делом государственной важности. На следственных матери-

алов по делу декабристов составлен был целый свод, который, по словам премьера Кочубея, "государь часто просматривает и черпает из него много полезного, да и я часто к нему прибегаю". Более того, свод этот был дан в наставление Преобразовательному комитету, учрежденному уже в 1826 году, каковой и постановил "извлечь из сих сведений возможную пользу при будущих трудах своих".

Бесстыдно обнажила здесь вся "методология" автократии: не только унижить, но еще и оболгать, не только оболгать, но еще и убить, не только убить, но еще и обокрасть!

Убить молодое, мужественное, бескорыстное и передать его дело в ведение казенных "комитетов", вскормленных сосцами автократии, в ничтожество которых нисколько не сомневался и сам император.

Как всякий плагиатор, Николай со своими комитетами оказался бесплоден, подобно библейской смоковнице.

Но "сведения сии", картина русской действительности, вставшая из этого скорбного завещания декабристов, была потрясающей по своей беспощадной правдивости, компетентности и силе обобщения. Открывались такие подробности судопроизводства, системы управления, отношений помещиков с крестьянами, крестьян с земской полицией, положения чиновничества, купечества, духовенства, нравственных уроков общества и расхищения его материальных и человеческих ресурсов, о которых не знало и не могло знать само правительство. Это была картина, которую не дали ему все его губернаторы, все его ревизоры и комиссии, его Стародумы и Правдины.

Но не в этом для нас суть дела.

Суть в том, что такой картины не дала и **литература!**

Пресмотрим же вместе с Велинским Тредиаковского и Ломоносова, Сумарокова и Хераскова, Фонвизина и Карамзина, Хемницера и Дмитриева, Петрова, Кострова, Воеводина и Попова. Найдём ли мы во всех их творениях вместе

взятых хотя бы подобие, хоть список бледный с этой беспощадной картины?

А теперь подумаем, мыслимо ли, чтобы любой политический документ XIX века мог дать более живую, более глубокую, более полную и компетентную картину современной ему действительности, нежели русская литература, литература Гоголя, Достоевского и Толстого?

И что же остается нам после такого сравнения, как не воскликнуть вместе с Белинским: да, у нас не было литературы!

Но главный парадокс состоит в том, что литература-то у нас тем не менее была.

Более того, литература у нас всегда была занятием серьезным. Делом. Исполнением общественного долга. Даже в те времена, когда, по знаменитому выражению мадам де Сталь, в России литературу делали несколько "кантильомов", прилежно заполнявших принятые в Европе рубрики, когда еще можно было, по простодушному признанию Державина, с помощью од устраивать с некоторым удобством служебные дела, и тогда все обстояло совсем не так просто, как могло показаться. Даже Добролюбову, писавшему в 1857 году: "что бы не случилось, не получат теперь права гражданства ни швейцарские поздравления с високотрественным праздником, ни лакейские оды, ни трактирные дифирамбы."

Литература XVIII века зарождалась в общественной пустыне, где произрастало единственное, буйно-зеленое дерево псевдоабсолютизма, монополизировавшего всю общественную мысль и инициативу, все рычаги исторического движения. К кому же и могли обратиться взоры кантильомов, делавших литературу? Кто же и мог в глазах людей, мысливших реалистически, предстать единственным источником народного просвещения? И прав поэтому не Добролюбов, а Плеханов, когда говорит, что "одонисцы были поклонниками самодержавной власти не только за страх, но и за совесть, от нея и только от нея ждали они почину прогрессивного движения в России".

Логика жантильменов примитивна, но трезва. Да, "неправда" съедает отчизну. Этого нельзя было не заметить в стране, где официальный указ именовал воевод и губернаторов волками в овечьем стаде. Где ревизор в самом правительствующем сенате обнаружил после смерти Петра вместе приходе-расходных книг неравборчивые каракули на бумажных лоскутках, в результате чего открылись "непостижные воровства и похищения".

Но что же виновато в "неправде"? Сумароков отвечал на это однозначно: "невежество есть источник неправды". Знание же, просвещение — в руках власти. Отсюда — ориентация на просвещенного законодателя, которого надо, во-первых, информировать о существующем зле, а во-вторых, побудить к искоренению этого зла. Эту двойственную установку литературы XVIII века доказывает и ее жанровая структура, преобладание в ней двух главных и, казалось бы, противоречащих друг другу жанров — сатиры и оды. Ведь самая даже одическая лезть в понимании жантильменов выглядела оружием прогресса.

Чтобы быть справедливыми, отметим и другую сторону дела. Еще бы не стать литературе занятием серьезным, коли с поры сумароковского "Хора ко превратному свету" и новиковских журналов было это занятие заподозрено властью. И за излишнее пристрастие к нему запросто можно было быть отослану к Степану Ивановичу Шешковскому. А Степан Иванович, что столь драматически суждено было узнать и Радищеву и Новикову, шутить не любит. И даже куда более "знатных персон" бил палкой "под самый подбородок, так что зубы затрепчат, а иногда повискакивают." В этих условиях лезть была просто естественной защитной реакцией, т.е. опять-таки исполняла общественную функцию.

Поэтому прямое обвинение в пресмыкательстве, которое бросает тогдашним жантильменам Добролюбов, конечно, излишне жестоко. Но... пресмыкательство остается пресмыкательством, даже если оно объяснено. Уж очень больших нравственных издержек требует такой способ общественного служения. Уж очень противен он человеческому естеству.

Уж очень унижен для литературы.

Однако, как же сложилось такое неестественное положение, что служение прогрессу совпадало с пресмыкательством, что приверженность просвещению выливалась в лакейско-трактирную службу, что зарождение литературы знаменовалось унижением человеческого достоинства?

Посмотрим сначала, какую общественную функцию все-таки выполняла литература XVIII века. Ведь само ее появление уже было явным симптомом стрыва общественного сознания от пуповины казенных доктрин, зарождения нового источника нравственной информации в обществе, самостоятельной выработки им понятий о целях, критериях и способах исторического движения. В литературе общество начало осознавать себя как нечто отдельное от управления, нечто такое, что может судить о нем и судить его.

Вот почему в литературе XVIII века общество, как бы ощутившееся от векового сна, мучительно пыталось стряхнуть с себя ощущение своего органического единства с властью. Оно трепетало и колебалось, создавало одновременно "Властителям и судиям" и "Оелицу", "Хор ко превратному свету" и "Оду на пленение Пугачева". Поминутно теряя почву под ногами, ощущало оно себя среди необозримой безыскодной пустыни, где даже глазу не на чем остановиться. В самом деле, если общество — нечто отдельное от власти, если она ведет вовсе не в ту сторону, если не все, исходящее от нее, добродетельно, нравственно, то что же ей противопоставить? Чему верить? Где искать источник нравственного?

Литературе XVIII века не суждено было ответить на эти вопросы. Но в ней общество обрело как бы принципиально новую подсистему, выполнявшую роль аккумулятора его нравственного опыта, своего рода блока нравственной памяти. Такова была ее общественная функция.

И поэтому она все-таки должна была отвечать на вопросы, с грозной неотвратимостью вставшие перед обществом. Если Ломоносов на это еще не покушался, если ему

как-то удавалось примирить в своем сознании утверждение национальной культуры с прославлением первейшего врага ее, если его последователь Василий Петров в особую себе заслугу ставил, что был "карманным Екатериныным стихотворцем", то уже с Сумароковым дело обстоит куда сложнее. Он и впрямь пытался выработать идеологию, которая дала бы ему возможность стать нравственным руководителем самодержавия.

Править страной должен не аппарат, состоящий из "потомков Хамова колена", "подъячих и крапивного семени", а культурная элита дворянства, его образованный широкий слой. Как видим, Сумароков ничего лучшего не изобрел для конкуренции с "хамовым коленом", как возрождение строго кастовой идеологии. В ней искало себе первого прибежища младенчески-растерянное общественное сознание. Дело, стало быть, не в автократии, а в бюрократии, в подъячих, которых по неведению запрягло самодержавие в свои упряжки. И вот они везут Россию не в ту сторону. А выход где? Он ясен, по мнению Сумарокова, как божий день — переменить лошадей! Поэт и сам не отказался бы сыграть роль если не коренника, то доброй пристяжной.

"Недоросль" сделан Фонвизинным именно по этой схеме. Он — модель страны, съеданной "неправдой", корень которой в неведении.

Порядок в ней устраивается образованными дворянами-правдолюбцами: за Правдиным, прекращающим безобразия Простаковой, стоит, по мысли Фонвизина, вся мощь и весь авторитет абсолютизма.

Вот она, хрустальная мечта, вдохновлявшая литературу XVIII века — Абсолютизм, воссоединенный с Интеллигентностью. Гибрид, чудовищность которого никогда не была понята ни Сумароковым, ни Фонвизинным, ни Карамзиным.

В этом смысле "Недоросль" — сколь парадоксальным ни показалось бы такое утверждение — обыкновенная абсолютистская утопия. Более того, я не могу отделаться от мысли, что Радищев в своем "Зайцове" очень зло ее пародирует, показывая в финале не утопическое вмешательство

абсолютистской справедливости, а — в полном согласии с действительностью — крестьянский бунт и соответственно "исправника с командой". А герой новеллы, Крестьянкин, попытавшийся сыграть в этой истории роль Правдина, лишь нашел в "оной желчь и терние". И "не в силах будучи делать добро, оставил место истинному хищному зверю". Вот так это было в жизни. И иначе быть не могло.

Но для того, чтобы просто даже понять это, нужен был совсем иной критерий прогресса, нежели тот, что выработала литература XVIII века.

Со времен Грозного прогресс сводился к завоеванию новых земель и народов. Петровское время, практичное и рабочее, выработало свой критерий — число выстроенных суконных мануфактур, оружейных заводов и корабельных верфей, могущество флота и необходимое для всего этого "просвещение". Развитие производительных и военных сил страны — таков был лозунг эпохи.

Но какое место во всех этих концепциях принадлежало главному деятелю прогресса и главному предмету литературы — человеку? Его проблемам, его стремлениям, его творчеству, его свободе? Марке писал, что не может быть свободным народ, угнетающий другие народы. Не тем более не мог быть свободен народ в стране, где власть, говоря словами Радищева, держала "согроздан нам равных в тяжких узах рабства и неволи". Половина народа, закрепощенная, отданная в социальное рабство, обусловила политическое рабство второй его половины. Крепостное право было питательной средой автократии, автократия была гарантом крепостного права. Это была историческая круговая порука. Нельзя было избавиться от одной формы рабства, не сокрушив другую.

Нечего и говорить о том, до какой степени критерий этот был недоступен жантильеской литературе. Возьмите того же просветителя Сумарокова, авторитетно заметившего, что "свобода крестьянская не только обществу вредна, но и пагубна, а почему пагубна, того и толковать не надлежит," и поставьте его рядом с Радищевым, впервые с не-

тиной, разрывающей сердце болью восторженного о крестьянах: "мы забыли в них человека!" Выдержит ли Сумароков такое сравнение? А ведь и Радищев был дворянином...

Вся скорбная мудрость, вся напряженная гражданственность будущей литературы вылилась вдруг в его потрясающем вопле! Литераторы XVIII века неустанно толковали о государстве, интерес которого отождествляли с общественным, а Радищев взглянул на дело с точки зрения человека. "Эмансипация немца есть эмансипация человека" — сказал Маркс. А разве не то же самое относительно русского сказал Радищев? Сказал — и ему открылись такие глубины и бездны, на изучение которых величайшей в истории литературы не хватило целого столетия.

Как раз при Екатерине, когда, по словам князя Безбо-редко, "ни одна пушка без нашего позволения выпалить не смела", когда, казалось бы, только и распелась казенным соловьям, хантыльинская литература, подобно Лаокоону, делает отчаянную попытку вырваться из намертвевших ее змей казенных доктрин, выработать свой, отдельный от власти, критерий оценки исторического движения. Попытку неудачную, утопическую, но послужившую полезным уроком складывавшемуся общественному сознанию. Она сдвинула с места камень — и движение, неостановимое и грозное, началось!

Геринист был этот путь. Путь — от Ломоносова, который, ревизуя религиозную догму, но зато в полном согласии с догмой автократии, воскликнул упоенно о Царе: "Он бог, он бог твой был, Россия!" — до Радищева, противопоставившего этой официальной ереси подлинную ересь: "Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние." На этом пути уже нельзя было не дойти до громового: "мы забыли в них человека!" До третьего — и окончательно — критерия, который только и мог стать знаменем литературы.

Радищев нашел тот угол зрения, под которым можно было увидеть подлинные проблемы общества. Эффективность системы стала измеряться не блеском военных побед, не бо-

гатством присоединенных земель, не числом покоренных в рабство — конечно, во видов сугубой государственной надобности — народов.

Самочувствием человека в системе — вот каким инфантильным, вот каким всемогущим критерием стала измерять ее русская литература.

Лучше ли, осмысленнее ли, надежнее ли становится ему жить от всех этих ее побед, завоеваний, верфей и заводов? Пробуждает ли она в нем человеческое достоинство, призывает ли она его к историческому творчеству, дает ли она ему возможность спокойно и свободно жить в своем суровом мире? Как должно быть для этого устроено общество?

В лице Радищева русская литература впервые противопоставила идеологической и нравственной монополии автократии не абстрактные схемы, а человека — скованного, никому до сей поры неинтересного, потонувшего в лучах сияющих монархических светил. Вот когда проповедь просвещения отделяется от преемственности, вот почему служение прогрессу становится несовместимо с униженным человеческого достоинства!

Человек — источник русской литературы, поле ее деятельности, ее истинное призвание, ее историческое оправдание. Автократия его развращала, а она его спасала. Она работала, исследуя человека, его проблемы, бездны его духа, мир его живых связей, его общественные поприща, его предназначение.

Вернемся, однако, к ее предшественнице, к литературе XVIII века, поставим, как говорится, точки над "и". В каком, собственно, смысле — предшественница? Во-первых, в смысле разработки инструментария, накопления мастерства, всего технологического богатства приемов и методов, т.е. в том смысле, в каком традиционная цеховая организация в средневековой статичной системе была предшественницей фабричной индустрии. Во-вторых, литература XVIII века была, как мы видели, той первичной формой, в которой зарождалось у нас отдельное от казенной идеологии общественное сознание.

В этом строго очерченном смысле она была неким закономерным подготовительным классом русской литературы.

Но лишь в этом. Взятые в целом социальные функции литературы двухвеков были не только различны, но и противоположны. Литература XVIII века должна была выродиться в руках Кукольника и Булгарина, продолжавших работать под тем же флагом православия, самодержавия, дезинформации и цензуры.

И здесь, в самом важном отношении, литература XIX века не была ее продолжением, она была ее антагонистом. Так же, как фабричная индустрия задохнулась бы, если бы не ликвидировала традиционную цеховую организацию, так не смогла бы работать литература, не вступив в жестокую борьбу со своей предшественницей, не отстояв свою общественную функцию. И борьба Пушкина с Булгариным, Белинского с Бенедиктовым, Гоголя с Сенковским, Щедрина с Катковым, была борьбой русской литературы с самим духом и принципами кантильомской литературы, надолго пережившими XVIII век /не только в книгах, но, как видим, и во множестве живых лиц, истинных ее наследников. Ибо теперь они могли играть лишь откровенно реакционную роль аутсайдеров, безуспешно тиаувших литературу назад, в потерянный рай благонамеренности/...

Но прежде, чем перейдем мы к объяснению того, почему именно так сложилась судьба русской литературы, а стало быть, и оппозиционной контркультуры в XVIII и XIX веках, рассмотрим, что выражало обнаруженное нами противоречие, если взглянуть на него с точки зрения философско-исторической.

XVIII век был в России веком господства псевдоабсолютизма. Разбитая петровской опричниной и окончательно разгромленная неудачей очередного Смутного времени, сбита с толку, с одной стороны, абсолютистскими декларациями власти, а с другой, — минимым прогрессом петровского времени, бурным взлетом индустриальной и военной мощи страны, развязавшим шовинистические и имперские стремления, оппозиционная контркультура переживала очередной духовный

паралич. Такой же "жантильбюмский период" пережила она уж в прешествующем цикле - в денетровской псевдоабсолютистской фазе XVIII века - и снова будет переживать в циклах последующих. Снова будет безголосой и инфантильной. И она будет радикализироваться, обретая голос и вставать, сначала утопически, а потом и реально на защиту системы против автократии, снова будет терпеть поражения и переживать духовные параличи, и снова оживать...

Стало быть, развитие ее, как и развитие русской культуры вообще, было не поступательным, а циклическим. И знала она не только взлеты, но и падения, и в каждом новом цикле обречена была заново открывать старые нитины, кровью и потом завоевывать свой опыт, переживать - в который раз! - все сужденные ей победы и все поражения, снова, начинать все сначала.

В этом была ее изначальная слабость по сравнению с автократией, спокойно наследовавшей правительственную мудрость прошлых поколений, беспрерывно наращивавшей не только организационную, аппаратную мощь, но и масштабы социальной демагогии, приемы мистификации и манипулирования.

Но разве только этот печальный вывод следует из сопоставления социальных функций литературы в XVIII и XIX веках? Разве не следует из него, что обреченная на многократное повторение пройденного, оппозиционная контркультура в состоянии была развивать колоссальную, выражаясь спортивным языком, стартовую скорость? Что с каждым циклом становилась она все более опытной, все прозорливее, все опытнее? Что даже периодические гекатомбы и массовые расправы, которые будет устраивать над ней опричная автократия, не в силах прервать эту тонкую, но не рвущуюся нить духовной преемственности оппозиции, идущую от Курбского к Крижанкину, от Крижанкича к Радищеву, от Радищева к Лаврову?

И может быть, важнейшим обстоятельством, которое ей в этом помогало, было то, что с течением времени сама автократия все больше и больше нуждалась в интеллектуальных ресурсах, в кадрах единомышленников и даже просто в през-

ственных ядрах, словом, в том, чем располагала на Руси от века только оппозиционная контркультура.

Ненавидела ее автократия — и нуждалась в ней: не получалось без нее ни фабрик, ни пушек, ни дипломатии, ни политического планирования, ни самой даже "официальной народности".

Дело в том, что автократия была драчлива и, как говорил Крыжанич, лакома. В пору своего Звездного часа, своей "жесткой" опричинины она решалась претендовать порою даже на мировое господство. Но и в более спокойной, всеядноабсолютистской фазе гипертрафия внешней функции была одной из важнейших ее черт. Ведь ее положение внутри страны настолько исключало какое-либо приращение в размерах и качестве ее власти — она и так была сверхабсолютна — что главный ее интерес всегда сосредоточен был на внешней политике: она ощущала равниную потребность в постоянном самоутверждении на мировой политической арене, в расширении географического ареала своего влияния и престижа. Собственно, этими метаниями между высокомерным стремлением к мировому господству и жалкими и наглыми попытками утвердить себя в качестве мировой державы исчерпывается весь спектр ее внешнеполитических стратегий.

И это опять-таки Грозный указал дворянству главный истинный предмет его политического возжелания и честолюбия — блеск внешних побед, завоевания, порабощение чужих стран, претензии на международное главенство. Здесь оно как бы компенсировало свой классовый комплекс неполноценности — тупую зависимость от власти, в этот канал искусно и лукаво отводилась на протяжении веков его нереализуемая во внутренней политике агрессивность.

Посвященное этому предмету место в писаниях современника Грозного, Ивана Пересветова, разумеется, тоже восстановленного нашими историками как деятеля "передового" и "прогрессивного", истинно неподражаемо по своей простодушной откровенности. Дело идет о земле Казанской, в ту пору еще не завоеванной, но известной тем, что "применяют ее к подрабешной земле угодном великим". "Да тому вел-

ми дивимся, — говорит его лирический герой, — что таковая земляца невеликая /первый аргумент/, велика угодная /второй аргумент/ у такового великого сильного царя под на-
зую /третий аргумент/, а не в дружбе /мы еще увидим, что не в этом дело/... хотя бы такая земляца угодная и в дружбе была /вот видите!/ ино было ей немочно терпети за такое угодие."

Припомним теперь, что проектерская литература, своего рода русская бюрократическая фантастика XVIII века, блюла эту традицию неуклонно. С той лишь разницей, что, если Пересветов негодовал по поводу ничтожной "подрайской земляцы", то Салтыков рекомендует уже завоевание Малой Азии, мотивируя тем, что "будет распространение и великия прибыли нашему государству", Курбатов пишет, что "в Перчинску слышно, что край теплый и зело хлебородный". Мало того, "и руда серебряная близко". Как же можно терпети, чтоб такое угодие да не наше было?!

Вспомните теперь восхищение Сумарокова "Российским Тамерланом" и его пророчество, что "будут поздно Россос дети всею Азией владети". Вспомните, за что шел славу лицемерному Екатеринину веку Жуковский: "Орлы во граде Леониде, возобновленная Таврида, и в Праге, кровью залитой, Москвы стигненная обиде!"

Вспомните, наконец, хрестоматийного апологета чистого искусства, "эллина" Аполлона Майкова, разразившегося браваурно-патристической книгой стихотворений по поводу позорной Крымской войны. К чему привела его неумолимая логика шовинизма? Не к восславлению ли Грозного? Не именем ли Грозного /"вместо имени Христа", по выражению Вл. Соловьева/ клялись все темные силы, клубившиеся вокруг Каткова и Победоносцева? Не эти ли силы утоляли свое восславленное тщеславие камскими сладострастными воспоминаниями о временах, когда "страною правили крутые мужики"? Возвращаются ветры на круги своя...

Новинистическая зарядка, даваемая общественному сознанию, предназначена была стать пьедесталом устоичивости автократии внутри страны. Конечно, автократии случалось

одерживать победы — и это, как правило, служило сигналом для развязывания "жесткой" опричнины. Но чем дальше, тем больше преследовал ее во внешнеполитических ее одиссеях обычный автократический рок: очередной военный конфуз, словно невидержанный экзамен, приводил к внутренним катаклизмам. Может поэтому многие серьезные общественные движения поздних ее циклов /например, народовольчество/, реформы /например, в 1861 году/ и даже революции /например, в 1905 году/ связаны были с военными неудачами? Но как бы то ни было, именно в годы послевоенного похмелья и становились ей необходимы честные и одаренные соратники. Не холоуи, а жрецы. Не опричные ханы, а идейные борцы. Не полицейские, а воители, вооруженные всем арсеналом современной науки, способные вместо тупого обожания, вместо административного восторга и канцелярской скуки выдать живую, мобильную и действенную идеологию. Одним словом, настоящие работники идейного производства, интеллигенты. Ибо слуги бывают верны, но чаще бывают продажны, и тут уж ничего не поделаешь — таков закон социальной психологии. По-настоящему преданными могут быть только единомысленники.

Конечно, автократия желала бы взять у них технический и организационный опыт, способность к идейному творчеству, желала бы только утилизировать их как интеллигентную прислугу. Но так не получалось. Дух человеческий не делим. И не может он в одной области быть свободным, а в другой рабским. У идейного производства свои, независимые от автократии, законы функционирования. И раньше или позже начинает оно выдвигать требования и претензии, смысл которых в конечном счете заключается в социальном контроле над властью, в поисках механизма этого контроля; начинает выставлять своих, конкурирующих с официальными, лидеров и идеологов, начинает, короче говоря, становиться смертельно опасным для автократии.

Таким образом, оппозиционная контркультура проходит, как мы видели, в каждом цикле заново все три сужденных ей круга автократического ада, три периода: о р г а н и-

ч е с к и й, когда она, еще пребывая, как говорит Гегель, "в себе", не в силах отличить себя от официальной культуры; у т о п и ч е с к и й, когда она пытается наладить контакты с властвующей автократией, найти с ней общий язык, убедить ее в нечестности, недостоинности, безнравственности, неэффективности Сверхмонопольной власти, навязать ей рациональные программы, выдвигая жантильонские, сумароковско-фонвизинские проекты и утопии; и, наконец, позитивный или р е а л и с т и ч е с к и й, когда, убедившись в бесплодности подобных занятий, она самостоятельно разрабатывает политическую альтернативу.

Теперь дело только за тем, чтобы нашлась достаточно мощная и авторитетная сила, отыскался, так сказать, социальный субъект этой оппозиционной альтернативы. Увы, отыскивается он далеко не всегда, ибо не всегда располагает система позитивными социальными силами. Но если он не отыскивается, работники идейного производства готовы сами взойти на баррикаду, заплатить собственными головами за попытку реализации своей программы. Ведь они, хоть и оппозиционеры, но все-таки люди русской культуры, а стало быть, радикалы и экстремисты, они не могут работать для одного будущего, им обязательно надо увидеть его своими глазами.

Так было, например, в 20-е годы прошлого века.

...Беззащитная, как только может быть беззащитен человек перед апокалипсическим зверем, стояла кучка молодых людей против всемогущества деспотизма. Зачем стояла она против него, а не шла с ним? Не спокойней ли бы спалось ей? Не скорей ли достигли бы успехов на жизненных своих стезях эти обеспеченные и опаренные молодые люди, которые отважно бросили на карту единственную свою жизнь отнюдь не из-за куска хлеба или крыши над головой? И что могли они противопоставить неизмеримой силе врага? Лишь пылкую жажду социального познания и справедливости? Но откуда берется эта упорная жажда познания, эта способность ради отвлеченной истины идти на каторгу и в петлю? Как объяс-

нить эту бесстрашную оппозицию ума торжествующему в клане невежеству? Оппозицию, на которую никогда не был способен, например, их идейный антипод и сикофант Булгарин? Ибо она не могла не казаться ему дикой и противоестественной — клиническим безумием, подлинным горем от ума.

Вы только попробуйте сами, читатель, встать на минуту на точку зрения преуспевающего функционера: ведь и впрямь с жиру бесятся интеллигенты! Чего не缺ает им, в самом деле, для счастья, коли есть у них богатство, положение, чины, служебная перспектива, коли им кланяются квартальные надзиратели и поклоняются женщины? Ну, изменила Чацкому Софья. Так зачем же по этой интимной причине обличать весь свет, зачем клеймить Скалозубов и Молчаливых, вместо того, чтобы просто пригладеть себе другую невесту, как сделал бы на его месте любой герой Булгарина? И что, право, за корысть Чацкому в этих обличениях, коли на первый раз прослышавшись из-за них безумным, а на второй, гляди, отвезут тебя в казенной карете прямо в казенный дом?!

А ведь в нелепых и безумных его монологах, по сути, вся русская литература. Вся литература с ее беспрерывным поиском **о б щ е с т в е н н ы х** причин любых, даже самых интимных коллизий, с ее дерзким обвинением автократии во всех бедах, которые случались с русскими людьми.

Ведь так легко, кажется, реализовать себя в существующей системе. И всего-то надо для этого вести себя тихо, жить — по замечанию катковского прихвостня Н. Любимого, — "сосредоточивая внимание на светлых сторонах, каких было немало, и закрывая глаза на темные, удовлетворяясь довольством личного положения, лицемерия вольно или невольно, чтобы не прать противу разна."

Но нет, не в преуспевающих дельцах и функционерах режима, удовлетворенных "довольством личного положения", закрывалась альтернатива автократическому проклятию России, а именно в этих эномах, чьим горестным опытом, мыслью и страданием вырабатывалась оппозиционная контркультура. Именно в них ненавидимых благонамеренной

черню, в этом хрупком и невзрачном сосуде содержалась единственная надежда страны. И разве тот же Булгарин, посветивший себя борьбе с этими людьми и с самим духом-нонконформизма, разве сам он, идиолог, интеллигент, работник идейного производства, не стал попросту ничтожной жертвой их эпохального поражения и последовавшего за ним разгрома самих условий этого производства? Разве не из-за этого стал он презренным Фиглярным, а не Лефортом не Никитов Паниным, не Афанасием Ордин-Нащокиным, каким, наверное, видел себя в своих счастливых снах? Не здесь ли исток трагедии Булгарина и современных ему интеллигентов охранительного направления, посветивших себя тотальному уничтожению того, без чего сами ни жить, ни дышать не могли, без чего превращались в шутов и пасквильантов, в вульгарных осведомителей и палачей, из рода в род, из колена в колено осмеиваемых и проклиняемых потомками?

Да, отмена крепостного права была главным вопросом эпохи. Но для молодежи, которая билась над проклятыми вопросами, быть в рабстве у автократии было такой же непереносимой мукой, как для крестьян рабство у помещиков. Как крепостное право сковало материальное производство страны, так деспотизм сковывал ее производство идейное. Он всегда был крепостным правом для мысли.

И столкновение между ними и работниками идейного производства страны стало неминуемым. Оно и произошло в декабре 1825 года на Сенатской площади в Петербурге. И окончилось катастрофой. Причем, катастрофой не только для оппозиционной контркультуры, как может показаться на первый взгляд, но и для самой автократии. Ибо, в очередной раз уничтожив источник высокой идейной чистоты, обрекла она себя на безнадежное сотрудничество со своими опричными хамами. Опять функционировала она в нравственном вакууме. Что же, это была всегдашняя ее судьба, ее рок, то, что предназначено было ей от века. Разве не в людях, по-настоящему преданных интересам дела, воодушевленных преобразовательной идеей, а не возможностью беспрестанно обвинять казну, разве не в них ис-

питывая крайнюю нужду Петр? И разве не их-то как раз и не было? И потому пришлось ему хватать их отовсюду, откуда придется, воспитывая дубинкой, угрозой, террором, презирая своих сотрудников. Под конец жизни, оглядевшись окрест трезвыми глазами, он увидел вокруг себя пустыню. И умер, не оставив после себя ни одного человека, которому мог бы доверить свое любимое детище, реформы. Не Меньшикову же, не Апраксину, не Остерману, не Толстому, не Ягужинскому, казнокрадам, лгунам, пьяницам и взяточникам, смотревшим более в государственный сундук, нежели в будущее России, оставлять ее было!

И опять-таки истоки этой драмы восходят к тому же Грозному. Но при Грозном хоть повибито было все даровитое, опасное, там была ценная реакция подлости, наущничества, доносов и предательства — природных спутников тотального уничтожения культуры. А Петр ведь способных людей не боялся, напротив, искал их во всех закоулках России и Европы. И все-таки в обоих случаях в финале — ситуация трагическая. Не ужилась автократия с интеллектуальным потенциалом страны, расточала его с безумной и нелепой последовательностью. Именно изначальная враждебность ее к просвещению и интеллекту и составляла одну из самых страшных драм русской истории.

Допетровских бояр, скажем, принято было представлять по историческим фильмам неповоротливыми, потонувшими в ишире и сабоках, задними вонючими бородаками, только и знавшими, что препираться из-за мест в Думе. Так оно в большой степени и было. Но откуда же, как не из них, взялся было на Москве деятельному уму и независимому характеру, масштабному и самостоятельному кругозору? От кого общественная среда поневоле требовала государственного мышления? Откуда было взяться Курбским, Скопиным, Салтыковым, Голицыным? Не из темного же дремучего дворянства, не умевшего, за редким исключением, даже руку к деловым бумагам приложить? Уничтожая боярство, Грозный извел попутно весь цвет тогдашнего русского интеллекта, самый корень его!

Даже в Иешанни, имевшей, как мы уже знаем, только

внешнее сходство с абсолютистскими монархиями Европы, нашлось тогда место для Сервантеса и Лопе де Веги. Стерпела ли бы что-нибудь подобное Москва Грозного? Тогдашняя Англия тоже познала тяжкую руку Генриха VIII и ужасы Марии Кровавой, но при всем том в ней возможны были и "Утопия" Томаса Мора и "Новый Органон" Бэкона. В ней возможен был Шекспир! Франция знала тогда резню католиков с гугенотами, но в ней работали злоязычный Рабле и мудрый Монтень. Говорить ли о Германии, где нашлось место для блистательного гуманиста Эразма? Нет, не злобной и беспощадной вражде к человеческому достоинству и мысли Москва Грозного и впрямь могла сравниться лишь с Турцией. В Европе тоже был деспотизм, — сказал однажды Герцен, — но все же там никому не пришло в голову висечь Спинозу или отдать в солдаты Лессинга...

Ополчив низшую фракцию господствующего класса на высшую, Грозный посеял между ними двухвековую рознь. Убить "породу" насмерть он не мог. И не мудрено: "порода" исполняла в донетровской системе свою общественную функцию. Кто-то должен был верховодить ее военной силой, править ее посольства, планировать ее политику. Загнав "породу" в угол, Грозный и совершил ряд диких политических липсузов. Но вместе с "породой" в опале оказалась и интеллигенция. И не только у Ивана, но и у всей низшей, а с XVII века решающей фракции господствующего класса. Зерна, брошенные Иваном в темную душу дворянства, пустили в ней глубокие и мощные корни. Идеологические установки этого русского Махмет-салтана, с "великия грозой" водворявшего свою турецкую правду, стали традиционным элементом политической культуры дворянства. Связь между крамолой /т.е. попыткой ограничения автократии/ и интеллигентностью работала теперь в его сознании с силой психологического автоматизма, как условный рефлекс. Оно было напрочь отучено от какой-либо политической активности.

Дошло до того, что любое участие в общественных делах стало восприниматься как тягчайшая повинность, от которой надо прятаться и "лынять". Сошлись лишь на один

пример - выборы в екатерининскую "Комиссию об Уложении" в 1767 г. Первым делом обнаружилось, что самая серьезная трудность - понудить граждан воспользоваться незнамо откуда свалившимся правом избирать и быть избранным. Даже такое бесценное по тем временам преимущество, как освобождение депутатов от пытки, телесного наказания и конфискации имущества, и то не прельщало. Отвержение, которое испытывали к предстоящей им участи депутаты, было непреодолимо.

Курский, например, избранный Иван Скорняков сразу же после выборов объявил себя невменяемым, представив медицинскую справку, авторитетно подтверждавшую "затмение ума". Киевский депутат Самойлов официально заявил, что выбрал его **п о а л о б е**, сводя с ним старые счеты...

О чем свидетельствовало это, как не о политическом растрепании нации? Да разве только политическом! То, чего не могла сделать тотальная коррупция, доделывала политическая полиция. То, чего не могла сделать она, доделывал шовинизм. То, что не по силам было шовинизму, довершала водка. Сошлись хоть на статистику питейных доходов автократии. Именно в XVIII веке, с послепетровского, восславленного жантильщиками времени, начинается трагическая история грандиозного массового славявания россияни. С 1724 по 1765 год питейные сборы более чем утроились. А за прекрасный екатерининский век они утроились снова и составили четверть /1/ всего государственного бюджета. С того времени, должно быть, и зовется он "пьяным бюджетом".

Самым худым, самым страшным последствием автократии было именно это загнивание и развращения человеческого материала системы. Ему грозило **н р а в е т в е н н о о в и р о ж д е н и е**.

Немудрящий слугана, киевский генерал-губернатор Виби-ков в беседе с студентами университета вдруг взял да и гениально сформулировал суть этого механизма разврата, которую никогда не могли постичь даже самые блестящие жантильщики: "Делайте, что хотите, пейте, гуляйте,

ходите в публичные дома — мне дела нет! Но если вы осмелитесь хулить правительство да заниматься политическими бреднями, прошу не пенять!" На эту сентенцию, оскорбившую целомудрие самой тайной полиции, неожиданно последовал высочайший рескрипт: "Совершенно согласен". Вот она во плоти, пресвещенность псевдоабсолютизма, вдохновлявшая бедные жантильемские сердца!

Спасения нации в этих условиях, казалось, не было... Впрочем, было!

Петр стер политическое и общественное различие между "породой" и дворянством, слив господствующий класс в единое шляхетство. Вековая вражда, посеянная Грозным, утратила социальный смысл. Это положило начало формированию новой структуры общественного сознания. Во-первых, дворянство воссоединилось с интеллигентностью. Во-вторых, вместе с крушением фракционной вражды падает и престиж идеологических установок. В-третьих, в поисках новой политической ориентации интеллигентное дворянство открывает великий секрет автократии: да, она калечит и развращает души, но лишь те, что позволяют развращать себя и калечить. И, напротив, как только становятся они к ней в оппозицию, сама огромность ее и непоколебимость оказывается источником столь же огромной активности, жизненной и духовной силы. Ясно стало, что именно интеллигентность, именно эту хрупкую и нематериальную субстанцию могло оно противопоставить тупому всемогуществу автократии. Только в ней, в интеллигентности, составлявшей душу оппозиционной контркультуры, и заключалось спасение народа от нравственного вырождения.

Вот в чем состояло величайшее открытие интеллигентного дворянства России: спасение нации — **о п п о з и ц и и**!

Генератором оппозиционных идей предназначена была статья литература. И она стала языком мятла, поприщем борьбы, средством духовного раскрепощения.

Но между Петром и ею лежал век жантильемской литературы. Век расплаты за нравственную и интеллектуальную

отсталость, за младенческое восхищение индустриальными и военными завоеваниями опричнины, за органическое духовное слияние с нею. Век пресловутого преемительства и накопления запаса интеллигентности. Век уступок рабству и поисков источников самоутверждения. Век согнутых спин и крамольных догадок. Век оды и сатиры.

Конечно, и того, что говорили жантильоны, автократии слышать не хотелось. Ей вообще не нужна была сатира. Но идейный напор литературы она на себе испытала, то, что за ним стоит реальная общественная потребность — не знала. В этом смысле литература XVIII века и сыграла роль общественной обратной связи. Псевдоабсолютизм тоже хотел "союза" с нею. Устами самой Екатерины изложил он свои основополагающие на этот счет воззрения, ставшие негласной программой благонамеренной литературы на долгие годы.

"Добросердечный сочинитель нередко касается к порокам, чтобы тем под предметом каким не оскорбить человечество: но... представляет пример в лице человека, украшенного различными совершенствами... описывает твердого блюстителя веры и закона, хвалит сына отечества, пылающего любовью и верностью к государю и обществу."

Теперь мы видим, что истинным пророком чудовищной идеи мезальянса Автократии с Интеллектом были вовсе не Бумароков и Фонвизин, а сама Екатерина. Вот в чем заключался действительный корень ее псевдолиберализма — она хотела поставить интеллигенцию на службу власти. И жантильомская литература пошла у нее на поводу.

Но выработка оппозиционной контркультуры уже началась. И она потребовала иных замашек, иных нравов, иных голов, иных черт "положительного героя". Потребовала отбросить прагматическую трезвость. Истинный реализм нередко в истории приходит как безумие и донкихотство. Чем же иным был визов, брошенный неколебимому, казалось, псевдоабсолютизму Радищевым? Визов, пронизанный откровенной ненавистью к нему, всему — сверху до низу — с его крепостным правом и деспотизмом, с его лицемерной демагогией и позитивистическим фанфаронством, с его циничной практикой "тащить и не пущать", выкручивать руки и зажимать рот — и

высоко нравственным идеалом "сына отечества, плавающего любовью и верностью к государю и обществу".

Так — как синтез политического радикализма и социальной революционности, как программа полного разрушения "самодержавства", как манифест, объявляющий ему открытую войну, как вопль о спасении от него человека — так началась русская литература XIX века.

Вот каков был в самом глубоком приближении генезис рождавшейся в очередном автократическом цикле оппозиционной контркультуры. Вот каковы были потребности, которые предстояло удовлетворить литературе, вот как складывались ее предпосылки.

В обществе, которое ничего о себе самом, о своей структуре и динамике не знало, кроме того, что благоволила сообщить ему власть — могла ли в таком обществе литература не взять на себя функцию социального исследования проблем и задач нации? Все, что делали на западе социальная наука, парламентские прения, бесцензурная пресса, памфлетная перестрелка, отчеты фабричных инспекторов — все это должна была она вложить на себя.

"Карету мне, карету!" — возопил Чацкий. Но куда направился бы он в этой карете? Где кончались владения Самусова? Могла ли в таком обществе литература не принять на себя функцию противовеса автократии, ее противоположного политического полюса, функцию строительства государства в государстве — великого государства оппозиции? Да, властвовала она не над животами соотечественников, но лишь над умами их. Но власть эта оказалась достаточно реальной, чтоб как к магниту, стянуть к ней все живые общественные силы, дать им арену, возможность реализовать свою мыслительную энергию.

Это было общество, где автократия на протяжении веков развращала человека. Могла ли литература в нем не принять на себя функцию нравственной школы общества, дававшей возможность свободного дыхания, сохранения душевного здоровья, роль врача общества общественных недугов?

Это было общество, где сильный с чувством полного права давил слабого, где граф Чернышев мог публично оскорбить Сумарокова, а Волюнский — палками побить Тредиаковского, не говоря уже о правах госпожи Простаковой хлестать по щекам своих подданных. Могла ли здесь литература не взять на себя функцию, которую исполняли народные трибуны в римской демократии, функцию защитника униженных и оскорбленных, представительства "маленького человека" в большом и суровом мире?

И, наконец, была она собственно литературой, художественным творчеством, имевшим свои специальные эстетические задачи. И хотя задачи эти никогда не играли в ней первостепенной роли, она тем не менее — а, может, тем более? — выросла в великую художественную державу, законодательницу эстетических вкусов Европы. И притом сумела завоевать в глазах своего народа авторитет и римских трибунов, и французских ораторов Конвента, и английских парламентариев, и американских "разгребателей грязи", авторитет, какого никогда не имела ни одна литература в мире.

... Когда Екатерина, так долго дразнившая помещиков рассуждениями о вреде крепостного права, прочла книгу Радищева, она, дама деловая и практичная, оценила ситуацию мгновенно. Это была совсем другая литература — не Сумароков, не Княжин, не Фонвизин. Здесь уж о "республиканском" политесе речи быть не могло. Уж ее-то императорскому величеству пропасть между жантильемской литературой и тем, что предвещало "Путешествие" была яснее ясного. "Это бунтовщик хуже Пугачева", — сказала она. А в ее устах это означало многое. Псевдоабсолютизм насторожился, почуввав настоящего врага. И вознамерился расправиться с ним.

История показала, что это было выше его сил. Но показала она и другое. Оппозиционной контркультуре в ее попытках преобразовать свое общество были точно указаны границы деятельности. Когда она, еще не вполне осознав это, перешла их в поисках прямого действия, эти мрачные скрижали ожили и заговорили с ней языком душек на Сенатской площади. Отныне ей оставалась литературная борьба,

борьба за умы и души. И она повела ее с искусством и —
мощью, которым могла позавидовать любая оппозиция в Ев-
ропе. Но это уже другая тема. У нее иные черты и иные
герои.

Главный наш вывод в этом параграфе, сделанный, ве-
роятно, уже и самим читателем, заключается в том, что
природа автократии обусловила ее непрекращающуюся ссору
с интеллектом, которого она боялась и в котором вместе
с тем нуждалась для укрепления собственных позиций. От-
сюда — чудовищное расхищение ее материальных, нравствен-
ных и интеллектуальных ресурсов общества, на котором
поймала ее за руку литература XIX века. Отсюда, наконец,
ее звериная ненависть к литературе, страх убийцы, бояще-
гося разоблачения и возмездия.

§ 43. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС ОППОЗИЦИОННОЙ КОНТРИКУЛЬТУРЫ

Однако и сейчас задачи нашей вводной главы не исчер-
паны. Трудно понять специфику русской истории, не отве-
тив на один из последних ее вопросов, на вопрос о целях
и функциях крестьянских движений. Но еще труднее объяс-
нить многовековую рознь между различными фракциями оппо-
зиции, преследовавшими словно бы одну и ту же цель и тем
не менее постоянно, на протяжении столетий, оказывавшими-
ся по разные стороны баррикады.

Ясно, что только осознание различия между абсолютиз-
мом и автократией может помочь нам понять истинный харак-
тер царистских по своей идеологии, "бессмысленных и бес-
пощадных" по своей практике, но а б с о л ю т и с т е -
н и х по своей программе "русских бунтов". Становится,
в частности, понятно отсутствие в этой программе собст-
венно политических требований и гарантий: и абсолютизм,
и автократия уживались в рамках одного монархического
стереотипа.

Требовалось, стало быть, не изменение с т р у к -
т у р ы царской власти, но изменение ее ф у н к ц и и.

Злому царю противопоставлялась поэтому не республи-
ка и даже не конституционная монархия, а царь добрый,
пожному царю - истинный.

А истинному и доброму царю политические ограничения
лишь помешают делать его доброе дело.

Политические ограничения есть форма компромисса, фор-
ма защиты от злого царя, а злого царя нам вообще н е
н а д о б н о - таково было генеральное рассуждение рус-
ского крестьянина.

Само понятие компромисса чуждо со времен Грозного
русской политической культуре, пронизанной экстремой и
радикализмом. Но важно, что в данном случае перед нами
экстремизм сугубо абсолютистский, добивающийся не юриди-
ческих, а экономических и культурных гарантий.

Влекаящая формулировка, которой устранился в XVI веке
английский абсолютизм: "установлено на опыте, что должа-
ность короля этой нации и принадлежность власти над нею
какому-либо одному лицу - не необходимы, обременительны
и опасны для свободы, безопасности и общественных интере-
сов народа, и, следовательно, должны быть уничтожены", -
такая формулировка на русской почве родиться не могла.
Вато царские народные движения были здесь более, чем
естественны. Просто они - с т и х и й н а я социальная
форма той же консервативно-абсолютистской оппозиции, обо-
ротной стороной которой были сознательные политические
притязания боярства, а впоследствии либерального дворянст-
ва и интеллигенции.

Только обе эти формы в оппозиционных своих устремле-
ниях никогда не выступали единым фронтом, но противостоя-
ли друг другу, как враги. В этой антагонистической струк-
туре оппозиции и заключалась величайшая историческая уда-
ча русской автократии и величайшее несчастье русской оп-
позиции!

Здесь в принципе и крестьянство, и боярство добивали

одного и того же — гарантий личной и имущественной свободы, хозяйственной и идеологической деятельности. Добивались того, чтобы власть могла вмешиваться в дела граждан лишь до известного предела, очерченного культурной традицией, чтобы она не смела тащить их и не пущать, "закреплять" и "перебарывать", когда и как ей заблагорассудится.

Вот за эти первоначальные гарантии, за это "невмешательство власти в дела земли", за это совершенно конфуцианское Ли, за эту чечевичную похлебку элементарного человеческого существования и согласны были они променять свое политическое невророждение, любые юридические права и свободы...

Я понимаю, сколь крамольным и шокирующим должно выглядеть это отождествление программных установок бунтующего крестьянства и мятежного боярства в глазах наших историков, тех самых, которые именно боярство избрали в качестве символа "старого мира" и козла отпущения за все грехи российской автократии.

Однако ведь иначе просто невозможно понять один из самых поразительных социально-психологических феноменов в истории мировой общественной мысли — роль абсолютистской оппозиции, роль помещиков в освобождении крестьян, отношение славянофильства к крестьянскому "миру".

Как это вообще, в самом деле, могло произойти, чтобы в эпоху крепостного права, помещик, который столетиями восклицал вместе с Чичиковым: какая, однако, разница между благородною дворянскою физиономиею и грубой мужицкою рожей, чтобы этот "самодержец в миниатюре" вдруг преклонил колена перед мужиком, как пред учителем жизни! Перед неграмотным, замордованным, жалким, но страшным во гневе — как перед освободителем, мессией! Чтобы интеллигент-дворянин, возгласил, что вся ~~и~~ н с л а в с к а я с к р а н ь пребывает в простом народе! Чтобы барин-помещик, властный над жизнью и смертью каждого из своих Ванек и Ма-

шек, признав вдруг в их совокупности верховную власть даже над царем, не то, что над самим собой. Прозрел в их сообществе, в крестьянском "миру" не простую тяглую силу, а нравственную надежду России!

Нет, никогда не сумеем мы объяснить этого поразительного явления, не поняв специфики абсолютистской оппозиции, объединившей в защите элементарных жизненных начал, первооснов национальной самостоятельности, социальные силы, которые во всех прочих отношениях друг другу противостояли. Нет, либеральное боярство и закрепощаемое крестьянство были антагонистами в исходном пункте российской политической эволюции. Наоборот, царская автократия и всем обязанные ей служилые дворянство и приказная бюрократия столкнулись в этом историческом споре с оппозиционной контркультурой, разными фракциями которой выступают и либеральное боярство и сопротивляющееся закрепощению крестьянство.

Таковы были исходные полюса русской политической драмы, которой суждено было обернуться трагедией.

Разумеется, это только утверждение. Доказательства будут представлены в свое время. Скажу лишь пока, что в этом утверждении я, кажется, не совсем одинок. До известного пункта, во всяком случае, отвечает ему и позиция современного советского историка Н.Е.Несова, который тоже ведь находит, что "объективно, в силу своего экономического положения как сословия крупных земельных собственников оно /боярство/ было менее заинтересовано и в массовом захвате черносошных земель, и в государственном закреплении крестьянства, чем мелкое и среднепоместное дворянство, а, следовательно, и менее нуждалось в укреплении военно-бюрократического самодержавного строя. В этом отношении его интересы иногда даже могли совпадать с интересами верхов кунечества, упорно добивавшихся условий /но условий отнюдь не крепостнического порядка/ для развития своей торговой и промышленной деятельности".

Но если боярство не было заинтересовано в экспроприации и закрепощении крестьян, если его интересы могли

совпадать с антифеодалными интересами верхов куначества, то почему же они непременно должны были противостоять интересам крестьянства? Крестьянства, которое было атаковано политическими врагами боярства?

Не следовало ли бы скорее согласиться с В.О. Ключевским, говорившем о литературных представителях боярства XVI века, что "во всяком случае у этих публицистов много земской скорби, патристического сокрушения и бедствиях родной земли, которую они по-видимому так горячо любили"? В их политических воззрениях не заметно узкого сословного эгоизма. Совсем напротив: они не только задумывались над положением и нуждами простого земского люда, но готовы были делиться с ним даже правительственной властью. Доказывая Св. Писанием, какими бедствиями карает Бог царей за "непослушание синклитского совета", Курбский вслед за тем высказывает такое возвышенное политическое положение: "Царь должен искать доброго и полезного совета не только у советников, но и у всенародных человек". Публицист боярского направления, с таким одушевлением составивший валаамскую "Беседу"... советуется духовным властям благословить царей и великих князей "на единомысленный всееленский совет... беспрестанно всегда держати погодно при себе от всяких мер /чинов/ всяких людей и на всяк день их добре и добре расспросити царю самому пре всякое дело мира".

Если бы учителем Курбского был не греческий богослов а западный юрист, ему не понадобилось бы даже придумывать в трудах и горестях изгнания свое знаменитое требование. Он знал бы, что еще за триста лет до него английский юрист эпохи первых парламентов Брактон точно таким же образом, почти дословно сформулировал свое отличие монархии от деспотии, говоря, что "силу закона имеет то, что правильно поставлено королевской властью с совета и согласия вельмож и общего соглашения всей земли". Он знал бы, что в XV веке другой английский юрист Фортескью построил на этом требовании целую теорию ограниченной мо-

нархии, которую и противопоставили принятому французскими легистами римско-императорскому принципу: "Закон то, что заблагорассудится государю". Он знал бы, наконец, что в современной ему Германии бытовала специальная формула, гласившая, что "законы могут устанавливаться лишь с ведома и по воле Земли".

На первый взгляд может показаться даже, что Курбский и его товарищи додумались собственным разумением до теории парламентов и ландтагов. Но в том-то и дело, что в их устах это были вовсе не правовые формулы, что придать своим требованиям подобие юридического канона побудила их крайность, в которую они были поставлены опричниной. Да и тогда опирались они вовсе не на "естественное право", как их европейские коллеги, а исключительно на предание, на "старину".

Это была консервативная оппозиция, и она не только не стыдилась своего консерватизма, но в нем одном и усматривала легальную основу своей деятельности. Это была оппозиция, которая добивалась не юридических ограничений самодержавия, но возрождения погребенной культурной традиции, которая, точно так же, как будут делать впоследствии лидеры крестьянских восстаний, противопоставляла не конституционную монархию, не республику самодержавию, но доброго царя — злему. Так же, как крестьянская оппозиция, добивалась она не изменения структуры царской власти, но изменения ее функций!

Иначе говоря, это была не только консервативная оппозиция, это была оппозиция абсолютистская.

Поколения протекли, отгремели и умерли со времен посланий Курбского и благочестивых пожеланий валаамской "Беседы". Но поздние потомки бояр-оппозиционеров, обучившиеся в проклятой ими Европе современному философскому языку, с душою, казалось бы, прямо геттингенской, называя вещи другими, неведомыми архаическими публицистами именами, ссылаясь на Шеллинга и воюя с Гегелем, отвергая петербургский и благословенный московский период русской истории, говорили ведь они, эти потомки, по сути то же

самое, что и бедные, забытые их предки. И винили во всем тех же самых "державных", которые "грех ради наших вместо кротости свирепее зверей кровоядцев обретаются", — как говорил на своем языке Курбский, винили "душевредный деспотизм, гнетущий духовный мир и человеческое достоинство народа", как говорил Аксаков.

"Горе грабящим и кровь проливающим и милости и суда не имущим во властях своих, занеже демя отищения близесть", — прорицал, как мы помним, Курбский.

"Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью... здесь является безакравствственность целого внутреннего устройства" и грядут поэтому "революционные попытки, которые сокрушат, наконец, Россию, когда она перестанет быть Русской", — прорицал Аксаков.

И "цари не удержатся на своих престолах", — вторил ему из глубины веков Курбский.

Этот апокалипсический дуэт разделен десятью поколениями, но звучит он, как единый набатный гул, предвещающий гибель России от деспотизма.

И причины указываются те же, и тревога одна, и рекомендации одинаковы: "единомысленный совет", Земский собор, слушать "всенародных человек" и "объявлено будет тем же людьми всякое дело пред царем, да правдою тою держится во благоденстве царство его."

И апеллируют они к той же верховной инстанции — к культурному преданию, к убеждению, что "правительственный механизм" испорчен, а "народ пребил и пребывает этим преданием верен".

Но если князь Курбский возродился в десятом поколении в Аксаковых, и если решаемся мы признать прогрессивным либерально-славянофильский протест против николаевской автократии — в середине XIX века, после декабристов и петрашевцев! — то как отлучить от лика прогресса либерально-боярекую оппозицию XVI века, Курбского "согласовщи", которые начали то, что продолжали славянофилы? Как отказывать корням в том, в чем не решаемся отказать ветвям?

Как отрицать, что либеральный консерватизм, проповедовавший, как говорил еще Берсень Беклемишев Максиму Греку, что "лучше старых обычаев держаться, людей жаловать и старых почитать", что "царство, где переменяют старые обычаи, недолговечно", как отрицать, что существует он в России от начала ее государственного бытия? И не просто существует, но и исполняет в ней свою п о з и ц и ю социальную функцию? Что не будь в истории России ее, этой инфантильной, полуутопической, абсолютистской контркультуры, автократия могла бы превратиться в обыкновенный "азиатский деспотизм"?

Как отрицать, наконец, что именно в этой боярской среде, в среде консервативной оппозиции, так же, как в XII веке в среде баронов в Англии зародилась впервые в России политическая мысль, т.е. мысль о правомерности социального контроля над властью, мысль, которая — кто знает? — быть может, оказалась бы в силах, не будь она сметена опричной революцией, противостоять и тотальной экспроприации и закрепощению крестьянства?

Во всяком случае, именно в объединении этих оппозиционных сил, организационной формой и символом которого мог бы стать "единомысленный вселенский совет", очень точно и своевременно найденный боярской политической публицистикой середины XVI века, и заключалась надежда России, культурный залог ее благополучного, насколько оно вообще могло быть в середине века благополучно, социального будущего.

И вовсе не случайно опричина как форма феодальной реакции, бывшая по существу своей акцией а н т и к р е с т ь я н с к о й, р я д и л а с ь в а н т и б о я р с к о е одеяние. Именю же, что нельзя было сокрушить крестьянство, не сокрушив прежде его потенциального политического соратника. Не опричники придумали этот извечный вероломный прием социальной демагогии — натравливание "черни" на единственный патрицианский слой общественной системы, ориентированный на либеральный компромисс с крестьянством.

Это понятно. Непонятно другое: как мог этот демагогический стареющий ввести в такой могучий соблазн целые поколения историков? Ввести до такой степени, что подавляющее их большинство и по сей пору трактует опричнину как великую победу "нового" над "старым", как триумф общественного прогресса, как акцию главным образом антибоярскую. Трактует несмотря на то, что такая трактовка неминуемо приводит их, как мы видели, к вопиющим логическим парадоксам...

Ведь очевидно же, что сами по себе крестьянские движения, стихийные и не сплодотворенные политической мыслью, лишены позитивной программы, обречены были выродиться в бесплодные, как говорил еще Пушкин, "бессмысленные и бессюдажные бунты". И с другой стороны, сама по себе политическая контркультура, не поддерживаемая мощной социальной силой, тоже неминуемо должна была выродиться в утопические конструкции. Ведь очевидно, что только воссоединение интеллигентной мысли и народной силы могло привести страну к нормальному европейско-абсолютистскому типу политического развития.

Но, увы, историки наши — котрое уже десятилетие! — предпочитают почему-то жертвовать этой очевидностью пустому и парадоксальному штампу, провозглашаемому притом в качестве символа "подлинной научности".

В свое время держкую и не оставшуюся без последствий попытку обличить это, если так можно выразиться, победоносное бессилие сделал А.Л. Шапиро в статье "Об исторической роли крестьянских войн XVII-XVIII веков в России". "А сожаленно, — писал он печально, — освещение этого вопроса обычно подменяется абстрактной и недостаточно ясной формулой: "крестьянские войны расшатывали основы феодального строя"... Школьник мыслит конкретно. Он ясно представляет себе, что расшатанный столб или гвоздь держится слабо, что до расшатывания они были гораздо больше укреплены, чем после того, как их расшатали. Однако, сразу после темы "Восстание Степана Разина" следует тема "Петровские реформы", и школьнику сообщается, что Петр 1 ук-

рения государства, служившее интересам крепостников. Учащемуся приходится, таким образом, ответить на нелегкий вопрос о том, как расшатывание феодального строя сочеталось с укреплением феодального государства и что вообще следует понимать под расшатыванием. Разъяснения на этот счет учебник не дает. Не лучше обстоит дело и с учебниками для высшей школы... В чем конкретно выражалось расшатывание крепостнической системы, студент узнает из вузовского учебника не больше, чем школьник из учебника для средней школы... Яряд ли есть необходимость называть десятки других монографий и статей, в которых повторяется и не раскрывается формула о расшатывании... дело заключается не в слове, а в опасности штампа, который подменяет необходимый анализ важного и плохо изученного вопроса..."

Штамп "расшатывания", выступающий в ореоле "подлинной научности", не помогает, а мешает анализу — говорят историк. За это ему спасибо: это уже поддела. Но как все-таки быть дальше? Ведь "необходимый анализ" требует и какого-то нового инструментария, каких-то новых средств интерпретации, если старый штамп действительно плох. А где брать их?

И вот что получается, когда В.В. Мавродин в специальной методологической статье пытается механически вклеить поправки Шапиро в кондиции старого штампа. Сначала, как и следовало ожидать, идут стереотипные дефракции в адрес крестьянских войн. Тут мы слышим, что это был "новый этап классовой борьбы в феодальной России и более того "высшая форма классовой борьбы". Дальше мы узнаем, какие еще важные преимущества имели крестьянские войны в России по сравнению с аналогичными явлениями в разных зарубежных странах. "Крестьянским войнам в России не свойственны ни компромиссы, ни переговоры восставших с феодалами по поводу содержания и форм уступок". Это вам не какое-нибудь восстание Уота Тайлера, которому переговоры такие как раз были свойственны, что, по мнению В.В. Мавродина, "свидетельствует о тенденции восставших к компромиссу с

феодалам, стоевшей жизни вождям восстаний и обуславившей разгром движения."

Надо полагать, что экстремизм и политическая инфантильность уготовили русским восстаниям и их вождям совсем иную судьбу!

Пока что все идет согласно штампу. И вдруг...

И вдруг — это срабатывает тормозные установки Шапиро — следует отбой. И какой отбой: "поворот все вдруг"! Значение крестьянских войн сводится почти что к нулю. Из "высшей формы классовой борьбы", долженствующей быть главным двигателем истории, они с невероятной быстротой превращаются в третьестепенный и притом исключительно культурно-идеологический фактор, которому суждено было вдобавок сработать лишь в самом отдаленном будущем, опустя много поколений. Тут мы уже слышим, что "значение крестьянских войн... следует усматривать не в непосредственных их результатах... Классовая борьба крестьянина накапливала у него горы ненависти, злобы и отчаянной решимости. Она научила его "ненавидеть барина и чиновника" ... мечтать о том времени, когда он начнет с оружием в руках "черный передел"... фольклор о Разине, Булавине, Пугачеве стал мощным оружием в арсенале крестьянства... Устное народное творчество... фольклор мобилизовал крестьянство..." и т.п.

Обратите внимание, что это история классовой борьбы трактует "устное народное творчество" как оружие, а политический компромисс как непростительную слабость несчастного западного крестьянства. Но суть даже и не в этом. Подумайте, в самом деле, что здесь написано. Учили "вспоминать", учили "мечтать"... Но как же все-таки быть с реальной оценкой этой с таким пафосом только что воспетой "высшей формой классовой борьбы"? Какова была ее конкретная роль в конкретном общественном процессе? Как и к чему двигала она общество?

Оказывается, ровно ни к чему. Раньше хоть "расшатывала", а теперь уже и "расшатывать" перестала.

"В самом деле, — с тем же пафосом восклицает В.В. Мавродин, — крестьянскую реформу 1861 г. отделяет от первой крестьянской войны 250, а от последней — 90 лет. И в течение всего этого периода феодализм противостоял крестьянским войнам и устоял. Крестьянские войны не привели к каким-либо уступкам со стороны господствующего класса и его правительства... не ознаменовались даже временным смягчением крепостнического законодательства и феодальной эксплуатации. Непосредственным следствием крестьянской войны 1773-1775 годов была дворянская репрессивная реакция..."

Вот так. Чем пышней были дифирамбы, тем решительней уничтожение. И все для того, чтобы спасти "подлинную научность" уже осмеянного штампа, чтобы в рассуждениях о "новом этапе классовой борьбы", оказавшемся, впрочем, столь же бесплодным, как и "старые", растворить реальный политический смысл крестьянских восстаний.

Я прихожу, как знает уже читатель, к выводу противоположному. К выводу о том, что крестьянские движения были стихийной формой консервативно-абсолютистской оппозиции. И поэтому нет мне никакой нужды в каноническом штампе "расшатывания", который, кстати, и по сию пору преспокойно фигурирует во всех учебниках. Нет нужды ни возносить высоко крестьянские восстания, ни тем более бросать их в бездну без стыда, как делает В.В. Мавродин.

Что действительно сотворила в массовом сознании русского крестьянства культурная революция опричнины, так это — могущественный страх перед царской властью и его обратную сторону, царистские иллюзии. Это — грозная экстремистскую традицию, на века вошедшую в состав обывательского сознания народа, традицию, согласно которой каждый российский обыватель должен был не только знать, но и ощущать на уровне подсознательном, как безусловный рефлекс, что власть вправе всегда, когда найдет это нужным, "закреплять" его и "перевоспитывать", устраивать над ним террористический суд и расправу, от которой не будет спасе-

ния нигде, никому и никогда. Ибо верду сможет настигнуть его карающая десница властей и никогда не дано ему будет понять, чем он виноват. Ибо власть умнее и сильнее его, и лучше его знает, что человеку на этой грешной земле надо. Ибо в споре между человеком и властью она всегда права, она заранее права, она непогрешима...

Но если власть столь несоборимо, столь неопровержимо и ужасно могущественна, то есть лишь одно средство изменить свою судьбу для каждого индивида — не сопротивление власти, не ограничение ее, а захват, овладение и распоряжение ею по собственному произволу.

Оттого-то и не уставало русское крестьянство выдвигать одного за другим все новых и новых самозванцев и кандидатов в цари. Отсюда-то и происходили его волюнтаристский экстремизм и политическая инфантильность. Оттого-то и крушило оно, поднимаясь в праведном гнев, без разбора и своих потенциальных союзников и своих закрепощителей, и оппозиционеров и опричников, и Пастеля и Бенкендорфа, и "скубентов" и их палачей, и народовольцев и жандармов.

Маркс, анализируя "бонапартистский комплекс" французского крестьянства, пришел к выводу, что "политическое влияние парцелльного крестьянства в конечном счете выражается... в том, что исполнительная власть подчиняет себе общество".

Представьте же теперь, до какой степени всемогущества и независимости от общества должна была дойти исполнительная власть в сознании крестьянства, насильственно в условиях тотального ужаса парцеллированного!

Вот в том-то и заключался исторический парадокс русской оппозиционной контркультуры, что два главных ее крыла, различаясь между собой по степени экстремизма, не только не способны были к политическому сотрудничеству, но и сконструировали в своем сознании диаметрально противоположные политические модели и идеалы.

Одно стремилось к ограничению власти, другое — к

захвату неограниченной власти.

Одно было главным образом либерально-абсолютистским, другое - экстремистски-абсолютистским.

Короче говоря, два крыла русской оппозиционной контркультуры оказывались на практике не политическими союзниками, а политическими антиподами.

Таково было главное противоречие русской оппозиции и, соответственно, главный источник могущества правящей автократии.

§ 14. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Менее всего, кажется мне, нуждаются в заключении главы вводные, методологические. Ибо это эфирные конструкции, платонические общания, воздушные замки, это алгебраические формулы, оперирующие бесплотными символами, которым предстоит наполниться плотью в последующих, твердо стоящих на земле главах, либо так навсегда обещаниями и остаться. И если все-таки пишу я этот заключительный параграф, то лишь для того, чтобы еще раз напомнить читателю, что предстоящая нам задача очень непростая. И в первую голову потому, что автократии - будучи бесконтрольными хозяевами управляемых систем и обладая вследствие этого уникальной способностью концентрировать все их наличные ресурсы для исполнения одной-единственной задачи, все равно военной, производственной или идеологической - несут в себе могучий соблазн. Что они могут быть привлекательны простотой своей конструкции и своим быстродействием, основательностью тех исторических переворотов, могучим рычагом которых они выступают.

Разве не распахнула перед Россией петровская опричнина голубую ширь Балтики, не прорубила для нее окно в Европу, не возвела в невских болотах великолепный "Парадиз", не индустриализовала страну, преодолев за короткие четверть столетия вековую ее отсталость? Так не искупает ли эта фундаментальность ее исторического действия, всю грязь и кровь, весь апофеоз насилия и ужас террора?

Обратите, однако, внимание на другую сторону дала. Обратите внимание на то, с какой быстротой грозный фальконетовский конь, вальсирующий Петром над Невом, обернулся вдруг традиционной сленой клячей, покорно кружащей к ласе автократической мельницы в заколдованном кругу отсталости. Обратите внимание на то, что Россия и после великого, оплаченного тысячами жизней переворота, совершенного Петром, осталась безнадежно **о т с т а л о й** страной!

Сошлюсь на один только факт. За время своего царствования Петр построил и купил около 1000 судов — линейных кораблей, галер и фрегатов. Это был русский флот, победитель при Гангуте, хозяин Балтики, гордость и краса Петрова, основа русского военного могущества. Через девять лет по смерти Петра, когда была произведена ревизия русскому флоту — в связи с предполагаемой осадой Штеттина — оказалось, что имеется в наличии только 15 кораблей, способных держаться на воде, и ни одного офицера, способного ими командовать.

Таков был интегральный результат опричинины: с той же быстротой, с какой перестраивала она страну, добиваясь ошеломляющего локального эффекта, с той же быстротой она и деградировала. Откат и отсталость неизбежно следовали за эпохой бури и натиска, и снова деградация, как раковая опухоль, расплзалась по всем суставам и членам державы, и снова государственная машина, созданная для чрезвычайных, для экстраординарных ситуаций, не в состоянии была справиться с поразившей ее сложностью хозяйственного механизма, и снова воспринявшая было духом страна неотвратимо сползала в болото отсталости.

В том-то и состоит секрет автократии, что она в принципе **н е с о с о б н а** взорвать эту вековую отсталость и вывести страну на магистральные пути прогресса. В том-то и состоит он, что революции ее оказывались фальшивыми революциями, а деградация — настоящей деградацией. Что вела она страну не по столбовой дорожке, а по

глухим и кровавым проселкам — из тупика в тупик, из несчастья в несчастье.

Основы этого рокового круга отсталости мы уже пытались наметить.

Терроризируя интеллект, автократия лишила себя возможности создать рациональный механизм исправления собственных ошибок.

Беззаботливо грабя собственный народ, она не имела никаких оснований требовать от него честного исполнения его обязанностей. Гомерическая, легендарная, поистине азиатская русская коррупция коренится именно в этом, словно бы отвлеченном и сугубо неполитическом факте безответственности управления, в нарушении им экономических и культурных ограничений. Оказывалось, что само функционирование общественной системы основано на доверии, на взаимном согласии власти и народа, что природа его конвенциональна. Оказывалось, что нарушение власти — во имя каких бы то ни было целей — конвенции о нравственности является вовсе не сюжетом для воскресных проповедей и платонических статей на моральные темы, но одним из фундаментальнейших оснований отсталости системы, обрекавшей ее оставаться средневековой и варварской, какими бы модернистскими атрибутами она себя не украшала.

Рационально мыслящие, деловые и толковые люди оказывались нефункциональны в варварской иррациональной системе. В системе, которая страшилась анализа — даже конструктивного, даже предпринятого людьми, сочувствовавшими ей и желавшими ей помочь. Ибо анализ был для нее смерти подобен.

Автократия в самой себе несла свое историческое возмездие, сама себя пожирала, вовлекая в свой трагический круговорот великий народ.

И всякий раз перед лицом очередного невыдержанного экзамена, перед лицом неостратимой судьбы вспоминали об этом даже защитники системы, даже самые оголтелые ее апологеты. Поэтому закрыть глаза хочется мне не собственными словами, но анализом эволюции взглядов одного из

создателей идеологии николаевской опричнины, знаменитой "официальной народности", Михаила Петровича Погодина от 30-х годов прошлого века до конца Крымской войны.

В 30-е годы Погодин полон был ликующего самодовольства. Великая победа над Наполеоном, развязавшая в стране очередную жесткую опричнину, не располагала к критике. Обратная связь в общественной системе была наглухо заблокирована. Идеология высокомерно оторвалась от политической реальности. Лидеры ее грезили наяву. "Россия! Что это за чудное явление на позорище мира? — восторженно вопрошает Погодин. — Россия — пространство в 10 000 верст длиной, от ... до ..."

Впрочем, все это знакомо нам и по другим источникам. Даже Пушкин писал тогда: "От финских холодных скал до пламенной Колхиды..."

Но у Погодина есть любопытные нюансы. "Россия — население из 60 миллионов. А если мы прибавим к этому количеству еще 30 миллионов своих братьев — славян, рассыпанных по всей Европе... Вычтем это количество... из Европы, и приложим к нашему. Что останется у них и сколько выйдет у нас? Мысль останавливается, дух захватывает! Девятая часть всей обитаемой земли, и чуть ли не девятая часть всего народонаселения. Полэкватора, четверть меридиана!"

Но не одно пространственно-демографическое величие России, осознанной вдруг как нечто противостоящее Европе и превосходящее ее, умиляет Погодина. "Да, физические силы достигли в возможности до высочайшей степени, на какой они не стояли и не стоят никогда в Европе... Но они не значат еще ничего в сравнении с нравственными силами, с благоприятными обстоятельствами, в коих Россия находится по отношению к остальному миру."

Обратите внимание на это назойливое противопоставление России "остальному миру". Россия не просто одна из европейских стран, не просто даже мировая держава. Россия — "целый мир какой-то самодовольный, независимый, абсолютный".

Мир по многолетию своему, и по богатству и благосостоянию, и— главное— по нравственному своему превосходству стоящий над Европой.

И абсолютное нравственное превосходство это вовсе не бесплотный, не платонический какой-то фактор, а реальная сила. И выражается она в уникальной в Европе идеологической монолитности. У них там игра в демократию, в парламенты, в партии, в гласность, в науку, у них "в противоположность русской силе, целостности, единую, там распря, дробность, кони еще более, как тень свет, возмущаются наши ордена." А Россия— вся, как боевая машина, как собранная пружина, "все ее силы составляют одну огромную машину, расположенную самым простым, удобным образом, управляемую рукой одного человека". И вся грозная машина эта "одушевлена единым чувством, и это чувство есть покорность, беспредельная доверенность и преданность царю, который для нас есть бог земной".

Сама грызня партий, сам парламентский маскарад ослабляет Европу до предела, до ничтожества, представляя пустую растрату сил, "механизм государственный осложнен, затруднен до крайности, так что всякое решение, переходя множество ступеней и лиц и корпораций, лишается естественной своей силы и свежести, и теряет благоприятное время... Читая состязания в палате депутатов, видишь, что все отличные умы... как будто подкупленные, только что мешают друг другу. Вот такое устройство получила государственная машина" в результате кукольной игры в гласность и в просвещение.

Но и это еще далеко не все. Нравственное загнивание и бесперспективность Европы дошли до последней степени. Она просто более не способна к развитию. Все, что могла, дала она уже миру. И настал ее черед кануть в неизвестность, в историческое небытие, перейти на положение колониальной периферии великой империи русских. "Кто взглянет беспристрастно на европейские государства, тот согласится, что они отжили свой век... что они не произведут уже ничего выше представленного ими в чем бы то ни было: в

религии, в законе, в науке, в искусстве". Напротив, "разврат во Франции, ленность в Италии, жестокость в Испании, эгоизм в Англии... неужели совместим с понятиями о счастье гражданском, об идеале общества, о граде Божьем? Златой телец — деньги, которому поклоняется вся Европа без исключения, неужели есть высший градус нового европейского просвещения... повторяю... где же добро святее?"

Читатель, полагаю, понимает уже, где оно, это добро. И Погодин торжествующе заканчивает аналитическую часть своего разбора слегка вульгаризированным Гегелем, утверждая, что "есть в истории череда для народов, кои один за другим выходят... служить свою службу человечеству". Понятно, чья теперь пришла череда...

Что ж удивительного, если в итоге своего сравнения двух нравственно-идеологических систем — цельной и раздробленной, здоровой и загнивающей, могучей и безнадежно больной — Погодин приходит к прогнозу в высшей степени оптимистическому? "Сравним теперь силы Европы с силами России:... и спросим, что есть невозможного для русского государя. Одно слово — целая империя не существует; одно слово — стерта с лица земли другая; слово — и вместо их возникает третья — от Восточного океана до моря Адриатического".

Не естественен ли при таком положении вещей вопрос: "Спрашиваю, может ли кто состязаться с нами и кого не принудим мы к послушанию? В наших ли руках политическая судьба Европы, и следовательно судьба мира, если только мы захотим решить ее?"

Итак, Россия предназначена владеть миром. Она на пороге своего мирового господства. "Русский государь теперь... ближе Карла V и Наполеона к их мечте об универсальной монархии".

Вот преобладающее настроение этих лет, их психологическая доминанта, с такой величественной откровенностью высказанная Погодиным. Примечательно, что еще в 1853 г., в самый канун войны, такого же ликующего оптимизма наполнен был и сам царь, полагавший, что "сильная экспеди-

ция с помощью флота прямо на Восток и Царьград может все решить весьма скоро". Еще на Рождество 1853 года Шевырев писал Погодину: "Государь всех... война и война — нет слова на мир. От всей России война сочувствие... таких дивных и единодушных наборов еще никогда не было. Крепостной поход".

Такова экспозиция и завязка идеологической драмы "официальной народности". Каков-то будет финал?

В декабре 1853 г., в начале войны, Погодин уже сетует на цензуру, на "пренебрежение общим мнением", приводящее к тому, что европейцы "ненавидят Россию, потому что не имеют о ней ни малейшего понятия... наше молчание, глубокое, могильное утверждает их в нелепых мнениях". Уже в апреле 1854 г. скептические нотки в писаниях Погодина усиливаются. Признание в том, что народы ненавидели Россию, становится поводом к ревизии всей русской политики в текущем веке: "политика была неверная и должна перемениться" — утверждает теперь Погодин.

А в мае являются уже ноты панические: "Враги стремятся на нас отовсюду... страшные силы их уже в походе... нас хотят отодвинуть на полтора столетия назад". Где, помилуйте, русское всемогущество? Где великокопное презрение к бессильной Европе? Где "одно слово царя", стирающее и выжидающее империи? Нету, пропало, забыто...

Напротив, Россия сама "подвергается нашествию, вещественному и невещественному... не одна сила идет против нас, а дух, ум, воля, и какой дух, ум, воля!" От возвышенного гегельянства, от "святого добра" не осталось и помину. "Балладоушие, рыцарство, благородство, — вопиет Погодин, — должно отложить теперь в сторону. Царство Христово не от мира сего". Но то ли еще будет? Будут исторические всхлипы: "но ведь мы ваши братья, белокожие, русоволосые, христиане"...

Но будет еще и нечто более важное. Будет неосужденное и весьма трезвое признание роли просвещения, роли науки, роли и н т е л л е к т а! Ибо если их конечные пули производят рану смертоносную, то нельзя нам

стрелять прежним горохом! Если винт сообщает их кораблям способность двигаться как угодно, то нельзя остаться нам со старыми методами кораблестроения — а механика, химия... позовут к себе естественные науки, естественные науки приманят математику, математика потребует философии, а философия спросит себе грамоту... людей образованных иметь никак нельзя без общего деятельного, искреннего покровительства всем наукам и всем искусствам, образованию и просвещению вообще."

Вот каким языком заговорил теперь Погодин! Разговор идет деловой и циничный — о штуцерах, о винтовках и конических пулях, для которых нужен, позарез нужен интеллект, ломающий грубую силу. Но ведь вместе с возрождавшимся на крымских полях поражений авторитетом интеллекта встанет старинная коллизия: как примирить его с авторитарностью деспотической власти?

Вот теперь наступил черед и для страшного признания в банкротстве всей идеологии "официальной народности", для осуждения всего, чему совсем еще недавно поклонялся Погодин. "Напрасно мы начали, — кается он теперь, — останавливать у себя образование, стеснять мысль, преследовать умы, умирать дух, убивать слово, уничтожать гласность, гасить свет, покровительствовать невежеству."

Так вот чем оказалось оно на деле, это "чуждое явление на позорище мира!"

С тем же пафосом, с каким прежде славилась физическое и нравственное благоденствие России, гармония и порядок "огромной машины, управляемой рукой одного человека", декламируется теперь: "эта тишина — кладбище, гниющего и смердящего, физически и нравственно... рабы славят ее порядок. Нет! Такой порядок поведет ее не к счастью, не к славе, а в пропасть!"

Посмотрите, как безжалостно сжигает Погодин своих идолов, клеймя "богопочитание, которое правительство хочет внушить народу перед властью". И это говорит один из авторов "официальной народности", насгвоздь пропитанной этим самым богопочитанием, один из главных его пропаган-

дистого, горделиво, так мы помним, возглашавший, что в том и сила России, что вся она одушевлена одним чувством к своему земному богу!

Ах, какую слышим мы из уст его сокружительную критику теперь, когда Николай уже умер, и уста развязались, и те, кого прежде давил и уничтожал Погодин, воскресли к новой жизни, и вышли из своих тюремных нор на свет божий, и ослеплены были этим светом!

Теперь он скажет, что он всегда думал так, как они — и даже еще радикальней, еще отважней. Теперь он постарается вырвать у них из рук знамя критики и будет лаять на своего бывшего хозяина яростней, чем его бывшие враги "злоупотреблений" не скроешь от тех, кого они касаются, — скажет он теперь. — Увидя их, например, на сцене, страдающие разве увидят что-нибудь для них новое?.. указание злоупотреблений может послужить пособием власти, которая, принимая оно к сведению, подвергая гласности, сложит тем самым с себя часть вины... порядочные люди решились молчать, и на попрание словесности остались одни голодные псы, готовые лаять или лизать... Во всяком незнакомом человеке предполагается шпион, печать молчания запечаталась все уста. Да и говорить не о чем: о политике не нужно, о правлении нельзя, о словесности нечего, о театре скучно..."

Но не о Погодине у нас сейчас речь. Речь о системе, горделиво полагавшей себя воплощением здоровья, а на самом деле скрывавшей под демагогической риторикой смертельные язвы. Речь о системе, которая на весь свет хвастала своей идеологической монолитностью и издевалась над европейской гласностью, а на самом деле представляла собой "тишину кладбища". Речь о системе, претендовавшей на мировое господство, а на самом деле бессильной довести до ума даже собственную страну. Речь, одним словом, об автократии, которая уверяла всех о том, что она лидер мирового прогресса, что она одна знает тайну человеческого счастья, а на самом деле лишь в очередной раз завела свой народ в очередной туннель унижения и горя. Речь об автократии, которая не способна дать своему народу ничего иного.